

Мария Бурас

**ЛЕЙН  
ГВИ  
СТЫ,  
ПРИШЕДШИЕ  
С ХОЛОДА**

Финалист премии «НОС»

# **Мария Михайловна Бурас**

## **Лингвисты,**

### **пришедшие с холода**

#### **Серия «Великие шестидесятники»**

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=66890993](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66890993)*

*Лингвисты, пришедшие с холода / Мария Бурас: АСТ; Москва; 2022*

*ISBN 978-5-17-144664-2*

### **Аннотация**

В эпоху оттепели в языкознании появились совершенно фантастические и в то же время строгие идеи: математическая лингвистика, машинный перевод, семиотика. Из этого разнообразия выросла новая наука – структурная лингвистика. Вяч. Вс. Иванов, Владимир Успенский, Игорь Мельчук и другие структуралисты создавали кафедры и лаборатории, спорили о науке и стране на конференциях, кухнях и в походах, говорили правду на собраниях и подписывали коллективные письма – и стали настоящими героями своего времени. Мария Бурас сплетает из остроумных, веселых, трагических слов свидетелей и участников историю времени и науки в жанре «лингвистика. doc».

«Мария Бурас создала замечательную книгу. Это история науки в лицах, по большому же счету – История вообще.

Повествуя о великих лингвистах, издание предназначено для широкого круга лингвистов невеликих, каковыми являемся все мы» (Евгений Водолазкин).

*В формате PDF A4 сохранен издательский макет.*

# Содержание

Предисловие	7
Собеседники	11
Начало эпохи	15
Наука без идеологии	15
Герои	28
Апресян	28
Жолковский	38
Зализняк[6]	46
Ива́нов	57
Мельчук	69
Падучева	84
Розенцвейг	97
Успенский	103
Места их обитания	114
Семинар «Некоторые применения математических методов в языкознании»	114
Конец ознакомительного фрагмента.	129

# Мария Бурас Лингвисты, пришедшие с холода

Художник *Андрей Рыбаков*

В оформлении переплета и авантитула использована эмблема Традиционной олимпиады по языковедению и математике, нарисованная А. Журинским



В книге представлены фотографии из личных архивов Ю.Д. Апресяна, Ю.К. Бабицкой, А. Вежицкой, А.Н. Головастикова, А.В. и В.А. Дыбо, А.К. Жолковского, А.А. Зализняка, Н.И. Кигай, Т.Ю. Кобзаревой, Н.Н. Леонтьевой, Т.А.

Михайловой, Е.В. Муравенко, Е.Г. Пospelовой, А.А. Раскиной, Г.И. Ревзина, С.М. Толстой, В.А. Успенского, Р.М. Фрумкиной, Е.Ю. Шиханович, Е.Ю. Щербаковой, а также из архива ОТиПЛ филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Автор и «Редакция Елены Шубиной» благодарят всех перечисленных за предоставленные материалы

© Бурас М.М.

© Рыбаков А.И., художественное оформление

© ООО «Издательство АСТ»

# Предисловие

В 1975 году я поступила на отделение структурной и прикладной лингвистики филфака МГУ. Там все было не так, как вокруг, – и в узком смысле, в отличие от филологического факультета, и в широком, в отличие от общепринятых способов говорить и думать. Математика, а не литература и история, дружеские связи не с однокурсниками по факультету, а со старше- и младшекурсниками этого же отделения, общение с преподавателями не только на занятиях, но и в походах. Своя абсолютно узнаваемая манера речи: «в силу ложности посылки», «не вижу однозначного соответствия», «неверифицируемое высказывание», «ровно так». И свой пантеон – набор имен и историй создания нашей науки, связанных с этими именами.

Пантеон включал как тех, кого мы регулярно видели на лекциях или спецкурсах, например Зализняка и Успенского (Владимир Андреевич Успенский за глаза назывался просто Успенским, в отличие от своего брата, которого звали Борис-Андреичем), так и тех, о ком ходили только рассказы. Рассказы становились своего рода тайным знанием о былых временах, открывающимся только посвященным, действующие в них лица – мифическими героями или злодеями.

Все годы обучения сопровождалась восторженными страшилками об уже выгнанном преподавателе математики Ши-

хановиче, который был чистый Цербер, но уж кто ему математику сдал, тот всем молодцам молодец. И шепотом – как его посадили и засунули в психушку и как кто из старших пострадал за то, что его защищал. Ходили истории и о том, как и кого из героев нашего пантеона выгнали с работы, запретили не только публиковать, но даже ссылаться на них в текстах.

В 1976 или 1977 году я в каком-то безумном порыве собрала несколько однокурсников и отправилась с ними домой к практически культовому лингвисту Игорю Мельчуку, уезжавшему из страны, – попрощаться и сказать, как нам ужасно грустно. Я не то чтобы была с ним тогда знакома – видела несколько раз в походах, – но он меня точно не помнил и дальше прихожей нас, конечно, не пустил.

Как в любом корпусе легенд, в нашем пантеоне были прорехи и преувеличения. Но он неизменно вызывал восхищение и грустное ощущение, что ты опоздала родиться, пришла к шапочному разбору.

Прошло много времени, я выросла и даже подружилась с некоторыми героями из тех, кто не уехал, познакомилась и с некоторыми из уехавших, когда стали пускать сюда из-за границы. Но кого-то так никогда и не увидела.

Что же это были за люди, как они создавали новую науку – структурную лингвистику – и как и почему был разрушен созданный ими мир? Что конкретно, как говорится, происходило?



Я взялась за эту книжку, потому что поняла, что скоро совсем некого будет об этом расспросить. Героев и свидетелей с каждым годом становится все меньше. С тремя десятками людей я поговорила, готовясь к ней. С некоторыми, увы, так и не успела – и уже не поговорить. От кого-то остались записи наших разговоров того времени, когда я писала о Зализняке<sup>1</sup>.

Кто-то отказался разговаривать. Таких было немного, но они были – и мне очень жаль. Иные без объяснений (или ссылаясь на плохую память), другие же, как известнейшая польско-австралийская лингвистка Анна Вежбицкая, написав дружелюбное подробное письмо о том, почему совсем не удастся выкроить время, чтобы вновь погрузиться в ту эпоху.

Книгу эту я плела, как гобелен, из рассказов моих собеседников. А также из воспоминаний или интервью, опубликованных на сайтах и в фэстшрифтах, отраслевых сборниках и прочих не самых популярных местах, которые можно найти, только если специально их ищешь и знаешь, что где искать. Я нанизывала их слова на каркас известных мне фактов, переплетала разговоры между собой так, что мои собеседники как будто беседовали друг с другом, соглашались, полемизировали, вспоминали одно и то же по-разному. Эта перекличка голосов обеспечила, как мне кажется, ту степень

---

<sup>1</sup> Бурас М. Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников. М.: Индивидуум, 2019. – Здесь и далее примеч. авт. (если не указано иное).

объективности, на которую в принципе можно надеяться. А заодно и высветила героев. Ведь ничто так не характеризует человека, как его собственная речь.

# Собеседники

Владимир Михайлович Алпатов – лингвист, доктор филологических наук, академик РАН. Выпускник Отделения структурной и прикладной лингвистики (1968).

Юрий Дереникович Апресян – лингвист, доктор филологических наук, профессор, академик РАН.

Александр Николаевич Барулин (17.11.1944–23.07.2021) – лингвист, кандидат филологических наук. Выпускник Отделения структурной и прикладной лингвистики (1971).

Владимир Борисович Борщев – математик, доктор физико-математических наук.

Александр Петрович Василевич – лингвист, доктор филологических наук, профессор. Выпускник Отделения машинного перевода / прикладной лингвистики (1965; 1-й выпуск).

Никита Дмитриевна Введенская – математик, доктор физико-математических наук.

Елена Самуиловна Зильберквит (Гинзбург) – в описываемый период технический сотрудник отдела семиотики ВИНТИ.

Александр Юльевич Даниэль – исследователь инакомыслия в СССР, сотрудник петербургского центра «Мемориал». Сын лингвистики и правозащитницы Л.И. Богораз и писателя Ю.М. Даниэля.

Анна Владимировна Дыбо – лингвист, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН. Выпускница Отделения структурной и прикладной лингвистики (1980). Дочь лингвистов В.А. Дыбо и В.Г. Чургановой.

Александр Константинович Жолковский – лингвист, литературовед и писатель. Кандидат филологических наук, профессор университета Южной Калифорнии (Лос-Анджелес).

Лидия Николаевна Иорданская – лингвист, кандидат филологических наук. Ученица и жена И.А. Мельчука.

Татьяна Дмитриевна Корельская – математик, программист, специалист по компьютерной лингвистике.

Григорий Ефимович Крейдлин – лингвист, доктор филологических наук, профессор. Выпускник Отделения структурной и прикладной лингвистики (1969).

Максим Анисимович Кронгауз – лингвист, доктор филологических наук, профессор. Выпускник Отделения структурной и прикладной лингвистики (1980).

Леонид Петрович Крысин – лингвист, доктор филологических наук, профессор.

Нина Николаевна Леонтьева – лингвист, кандидат филологических наук, доктор технических наук, профессор.

Елена Вячеславовна Микаэлян (Гецелевич) – лингвист. Выпускница Отделения структурной и прикладной лингвистики (1973).

Игорь Александрович Мельчук – лингвист, кандидат фи-

филологических наук, профессор Монреальского университета (Канада), почетный профессор Института языкознания РАН.

Елена Владимировна Муравенко – лингвист, кандидат филологических наук. Выпускница Отделения структурной и прикладной лингвистики (1976). Вдова А.Н. Журина.

Елена Викторовна Падучева (26.09.1935–16.07.2019) – лингвист, доктор филологических наук, профессор.

Барбара Холл Парти (англ. *Barbara Hall Partee*) – американская лингвистка, почетный профессор Массачусетского университета в Амхерсте (*UMass*).

Николай Викторович Перцов – лингвист, литературовед, доктор филологических наук. Выпускник Отделения структурной и прикладной лингвистики (1968).

Анна Константиновна Поливанова – лингвист, кандидат филологических наук. Выпускница Отделения структурной и прикладной лингвистики (1967).

Александра Александровна Раскина – лингвист, переводчик, автор мемуарной прозы. Выпускница Отделения структурной и прикладной лингвистики (1965; 1-й выпуск).

Елена Александровна Рыбина – археолог, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Елена Николаевна Саввина – лингвист, кандидат филологических наук. Выпускница Отделения структурной и при-

кладной лингвистики (1972).

Светлана Михайловна Толстая – лингвист, доктор филологических наук, профессор, академик РАН.

Борис Андреевич Успенский – филолог, лингвист, семиотик, историк языка и культуры, доктор филологических наук, профессор.

Виктор Константинович Финн – философ, математик, доктор технических наук, профессор.

Татьяна Владимировна Цивьян – филолог, доктор филологических наук, профессор.

Алексей Дмитриевич Шмелев – лингвист, доктор филологических наук, профессор. Выпускник Отделения структурной и прикладной лингвистики (1979). Сын лингвистов Д.Н. Шмелева и Т.В. Булыгиной.

# **Начало эпохи**

## **Наука без идеологии «Казалось, перед нами открылись бескрайние горизонты нормального существования»**

Закончилась Вторая мировая война. Люди на ней не только убивали друг друга, но и искали продвинутые способы этому как помешать, так и поспособствовать. Эти поиски дали огромный толчок развитию многих научных направлений: в физике, математике, кибернетике и др. Среди прочего военные нужды стимулировали и развитие криптографии.

Молодой американский математик Клод Шеннон<sup>2</sup>, будущий создатель теории информации, для обеспечения секретности правительственной связи во время войны разрабатывал криптографические системы, которые использовались при переговорах Черчилля и Рузвельта.

Эти разработки произвели большое впечатление на его старшего коллегу, американского математика Уоррена Уивера. В 1947 году в письме к знаменитому Норберту Вине-

---

<sup>2</sup> Примечания, обозначенные цифрами, находятся в конце книги.

ру<sup>23</sup> он – впервые – высказал предположение о возможности перевода с одного языка на другой посредством ЭВМ – электронно-вычислительной машины. Впрочем, Винера это письмо не заинтересовало, высказанную в нем идею он не оценил. Но Уоррен Уивер не сдался. Через два года последовал меморандум Уивера о целях и принципах машинного перевода, озаглавленный просто «Перевод», в котором он выдвинул четыре гипотезы: о значении контекста для снятия многозначности слов, о возможности взгляда на перевод как на проблему формальной логики, о целесообразности приложения методов криптографии к решению задачи перевода и о существовании лингвистических универсалий, лежащих в основе всех человеческих языков.

На этот раз идеи Уивера нашли отклик. В 1951 году работать над задачей создания машинного перевода начали в Массачусетском технологическом институте (Йегошуа Бар-Хиллел<sup>4</sup>) и в Джорджтаунском университете. Исследовательская группа Джорджтаунского университета получила поддержку компании *IBM*, и уже 7 января 1954 года в нью-йоркском офисе *IBM* прошла первая публичная демонстрация машинного перевода с русского на английский. «Девушка, которая не понимает ни слова на языке Советов, набрала русские сообщения на перфокартах. Машинный мозг сделал их английский перевод и выдал его на автоматический принтер с бешеной скоростью – две с половиной строки в секунду».



ду», – сообщалось в пресс-релизе компании *IBM*<sup>5</sup>.

Программа, лежавшая в основе этой первой демонстрации, – так называемого Джорджтаунского эксперимента, – была довольно ограниченной: она использовала словарь в двести пятьдесят слов и грамматику из шести синтаксических правил. Тогда еще не было ни клавиатур, ни мониторов, поэтому текст вводили на перфокартах, а перевод выдавался на печатающее устройство. Все присутствовавшие на демонстрации были чрезвычайно воодушевлены. Машинный перевод сочли перспективным направлением, и работы в этой области получили значительную финансовую поддержку.

– Перевели триста фраз! – рассказывает Игорь Александрович Мельчук. – И раззвонили об этом по всему миру. Все, даже два главных изобретателя компьютера, Норберт Винер и фон Нейман<sup>6</sup>, утверждали, что это невозможно. Оказалось, что это даже не так и сложно.

Известие об успехе этого эксперимента дошло и до России: в октябрьском номере реферативного журнала ВИНТИ «Математика» за 1954 год появилась статья Д.Ю. Панова<sup>7</sup> «Перевод с одного языка на другой при помощи машины: отчет о первом успешном испытании».

Надо сказать, что при Сталине – да и некоторое время после его смерти – некоторые науки в Советском Союзе не только не признавались таковыми, но и считались идеологически вредными лженауками (это отношение хорошо де-

монстрирует фраза «генетика – продажная девка империализма», ошибочно, хотя в некотором высшем смысле и верно, приписываемая Т.Д. Лысенко). Так, в Кратком философском словаре, вышедшем в том же 1954 году, когда состоялся Джорджтаунский эксперимент, словарная статья «кибернетика» выглядела следующим образом:

КИБЕРНЕТИКА (от др. греч. слова, означающего рулевой, управляющий) – реакционная лженаука, возникшая в США после второй мировой войны и получившая широкое распространение и в других капиталистических странах. <...> По существу своему кибернетика направлена против материалистической диалектики, современной научной физиологии, обоснованной И.П. Павловым, и марксистского, научного понимания законов общественной жизни. Эта механистическая метафизическая лженаука отлично уживается с идеализмом в философии, психологии, социологии. <...> Кибернетика ярко выражает одну из основных черт буржуазного мировоззрения – его бесчеловечность, стремление превратить трудящихся в придаток машины, в орудие производства и орудие войны. Вместе с тем для кибернетики характерна империалистическая утопия – заменить живого, мыслящего, борющегося за свои интересы человека машиной как в производстве, так и на войне.

Информация об успешном эксперименте по машинному переводу стала началом интеллектуального переворота в

России.

— Об этом прочел человек, сыгравший колоссальную роль в моей научной судьбе, — вспоминает Мельчук, — профессор Ляпунов<sup>8</sup>. Профессор математики Московского университета. Он во время войны был артиллеристом-расчетчиком, а там, естественно, непрерывные сложнейшие вычисления, которые делались вручную или на таких арифмометрах. При этом, будучи хорошим математиком, он несколько раз вступал в большие конфликты с начальством: они тупо по таблицам чего-то считали, а он им доказывал, что это неверно, надо иначе. И пару раз чуть под военный суд не попал, потому что он самовольно менял указания артиллеристам. Но в конце концов стал большим человеком. Потому что он всегда был прав.

Он первым начал в Советском Союзе внедрять кибернетические методы. Кибернетика тогда была под категорическим запретом. Но дело в том, что советским понадобились расчеты для баллистических ракет. И оказалось, что она, может, и продажная девка, но она очень нужна. Ляпунов начал постепенно приобретать все больше веса и в конце концов перешел работать из университета, где его травили, в специальное заведение, созданное военными, — Институт прикладной математики. Это фактически он так назывался, а на самом деле это был вычислительный центр по расчету баллистических траекторий. И там, естественно, создавали компьютеры и пользовали их спереди и сзади.

В СССР началась постепенная реабилитация кибернетики. Владимир Андреевич Успенский пишет: «Как известно, кибернетика – в том понимании, как это было впервые сформулировано Норбертом Винером в его одноименной книге 1948 года, – в СССР до хрущевской оттепели прочно ходила в буржуазных лженауках, да еще и числилась состоящей на службе у англо-американской военщины. Тот факт, что военная мощь потенциального противника опирается на лженауку, почему-то не вызывал должного удовлетворения у советских властей. Первой ласточкой, возвестившей возможность говорить о кибернетике без ругательных ярлыков, была статья С.Л. Соболева, А.И. Китова, А.А. Ляпунова (первый и третий – математики, второй – инженер) “Основные черты кибернетики” в 4-м номере “Вопросов философии” за 1955 год»<sup>9</sup>.

В Политехническом музее в 1954 году<sup>10</sup> (по другим сведениям – в 1955-м<sup>11</sup>) на публичной лекции признанного советского академика, одного из создателей теории автоматического управления В.В. Солодовникова, под названием «Что такое кибернетика» зал, по свидетельству очевидцев, был переполнен – настоящий аншлаг.

Реабилитация кибернетики приоткрыла дверь в мир, где может существовать наука без идеологии, где доказательность самоценна и ее не надо поверять цитатами из классиков марксизма-ленинизма. Чистота и строгость свободного

от демагогии научного поиска обещала духовную свободу, манила разрешимостью многих задач. Это было время полного воодушевления и эйфории.

«1956 год – очень важный момент в жизни России, – пишет Мельчук. – Только что Хрущев объявил о конце сталинизма; официально закончился кровавый кошмар, длившийся тридцать лет. Государство перестало убивать. Только люди, сами жившие под коммунистическими режимами (Россия, Китай, Камбоджа, Северная Корея), могут представить себе, что означает конец такого существования. Началась эпоха “бури и натиска”, с последующей розово-голубой романтикой. Казалось, перед нами открылись бескрайние горизонты нормального существования. “Оттепель”, как называл это время Эренбург. А я бы сказал – неожиданный конец полярной ночи и сумасшедшая, неудержимая Весна. <...> Больше я никогда не переживал такого всеобщего ликования. <...> Начались грандиозные преобразования в науке»<sup>12</sup>.

Возможность сбросить оковы марксистско-ленинской идеологии, перестать считаться бойцом «идеологического фронта» раскрепостила научную мысль; ученые-гуманитарии начали признавать достоинства своей работы не «идейную выдержанность», а логику и доказательность.

«В нашем отечестве, – продолжает В.А. Успенский, – кибернетика быстро приобрела черты неформального общественного движения (подобно тому как не только литератур-

ным направлением, но и движением был в России футуризм; не берусь судить, является ли превращение научных и литературных направлений в общественные движения чертой общей или специфически российской). Это движение захватывало и гуманитарную науку, в частности филологию. Математическая лингвистика, математизированное литературоведение, а с ними вместе структурная лингвистика и структурное литературоведение, еще вчера невозможные по идеологическим причинам, и участниками движения, и властями воспринимались как часть кибернетики, и если получали право на жизнь, то под ее флагом».

Тараном для продвижения строгих методов в языкознании стал прикладной аспект лингвистики, в первую очередь машинный перевод.

В 1955 году в журнале «Природа» Алексей Андреевич Ляпунов и его аспирантка Ольга Кулагина публикуют статью об использовании ЭВМ для перевода с языка на язык: «Машинный перевод преследует цель правильной передачи содержания текста научного или делового характера. Вопросы о художественном переводе при помощи машин в настоящее время не ставятся. С точки зрения теоретической интерес этой проблемы заключается в том, что описание взаимоотношений между выражениями одной и той же мысли на разных языках должно быть доведено до такой степени отчетливости, чтобы его можно было полностью формализовать и обратить в программу, управляющую вычислительной ма-

шиной»<sup>13</sup>.

Таким образом, обрела легитимность формализация языкового описания. Одновременно с этим происходило и размежевание лингвистики и филологии как строгой и нестрогой дисциплин.

– Структурная лингвистика разрабатывала точные методы описания языка, выявление структур, связей между разными сторонами языка, – рассказывает Лидия Николаевна Иорданская. – Для традиционного языкознания, чья заслуга была в предложении полезных понятий, которые, правда, обычно определялись весьма приблизительно, было характерно аморфное описание. Такое описание невозможно было использовать для практических задач, возникших в конце 1950-х годов, а именно машинного перевода, автоматического реферирования и т. д. Именно попытки решения этих актуальных задач толкнули лингвистику на новый путь. До этого времени термин «структурная лингвистика» был одиозным в советском языкознании. Сигналом того, что это словосочетание разрешено, стало появление в «Вопросах языкознания» статьи С.К. Шаумяна<sup>14</sup> под примерно таким названием: «Что такое структурная лингвистика»<sup>15</sup>. Все знали, что у Шаумяна – члена партии – есть высокие связи; значит, теперь структурная лингвистика разрешена.

«В конце 1950-х и начале 1960-х годов лингвистика стремилась обрести черты зрелой науки, – пишет лингвист Ре-

векка Марковна Фрумкина, – с определенными требованиями к описанию, с четким различием между фактами и гипотетическими построениями, с жесткостью формулировок. Структурная лингвистика именно в силу своей подчеркнутой научности, в отличие от идеологически препарированной гуманитарии, была вне вкусов, вне партий, вне идеологии. <...> Хотя я и мои ровесники и были очень молоды и не слишком умудрены, но всё же осознавали, что помимо разрушения стереотипов мы участвуем в создании не просто новой науки, но способствуем построению обобщенной модели для новой науки, свободной от идеологических догматов»<sup>16</sup>.

Определения «структурный», «математический» указывали на признание строгости и доказательности научного исследования в качестве ценности и приоритета для ученого-лингвиста. Как писал А.К. Жолковский, «неуместность самолюбия, когда дело идет об Истине, готовность признать любые свои ошибки и начать с нуля, культивация вызывающего “не знаю” и т. п. – этими принципами научной скромности паче гордости вдохновлялось целое поколение лингвистов-шестидесятников»<sup>17</sup>.

Определение «структурный» в то время вообще символизировало отказ от расплывчатости гуманитарных штудий: все структурное, строгое и формализуемое противопоставлялось традиционному, нечеткому и размытому, как научное – описательному. Так, почти демонстративно подчерки-



вало свою особость структурное литературоведение, структурной была и семиотика. Учеными, адептами структурного метода, двигала вера в то, что правильный подход позволит разобраться с любой проблемой.

«В структурном же лагере, – пишет Жолковский, – напротив, царила убежденность в полной и окончательной разрешимости всех задач литературоведения “точными” методами. Помню, как (году, вероятно, 1968-м или 1969-м) Б.А. Успенский сообщил мне, что только что отдал в печать свою “Поэтику композиции” (1970) и больше заниматься поэтикой не намерен, ибо все основное теперь уже сделано. Незабываема также фраза, которой В.К. Финн, классик советской информатики, со скромно-торжествующей улыбкой закончил один из своих докладов, блиставших виртуозным применением математической логики:

– ...И тогда поэтика, подобно квантовой механике, замкнется как сугубо формальная теоретическая дисциплина»<sup>18</sup>.

В это время на филологическом факультете МГУ начинает работать семинар под обманчиво-скромным названием «Некоторые применения математических методов в языкознании»; в академических институтах: языкознания, русского языка и славяноведения – создаются секторы структурной или прикладной лингвистики; проводятся конференции и совещания по машинному переводу, по математической и прикладной лингвистике, симпозиум по семиотике, летние

и зимние школы по тем или иным проблемам формального описания языка. Структурная лингвистика вошла в моду, стала символом современной, продвинутой, устремленной в будущее науки.

В этом качестве она вошла в литературу и в кино, а вот с положительными или отрицательными коннотациями – это уже зависело от личных пристрастий.

Есть на всякий, есть на случай  
В «Корабле» специалист —  
Ваш великий и могучий  
Структуральнейший лингвист, —

писали Стругацкие<sup>19</sup>, в чьих ранних книгах «структуральный лингвист» – один из главных положительных персонажей, который с легкостью дешифрует инопланетные языки и вообще молодец и отважный герой. Улетающего в космос товарища Травкина из фильма Георгия Данелия «Тридцать три» анекдотический персонаж, явно пародирующий занимавшегося реформой орфографии М.В. Панова<sup>20</sup>, в последние секунды перед отлетом спрашивает, как надо писать: *защ* или *заец*. Почему-то изучающим структурную лингвистику студентом оказывается персонаж фильма Говорухина «Ворошиловский стрелок» – паршивец и убийца<sup>21</sup>.

Когда структурная лингвистика в России начала формироваться, выкристаллизовываться из традиционного языко-

знания, это происходило точь-в-точь, как предписано наукой кристаллографией. Начался процесс с достижения некоторого предельного условия – не буквально с переохлаждения жидкости или пересыщения пара, как требуется для настоящих кристаллов, а с ослабления идеологических установок после смерти Сталина и обусловленного этим освобождения научной мысли. Центрами же кристаллизации науки лингвистики стали конкретные люди, воплотившие дух времени и ставшие тем самым его героями.

Некоторых из них я представляю сразу же – не в порядке значимости, а по алфавиту. О других же расскажу по ходу дела.

# Герои

## Апресян

### **«Он создал новую науку фактически»**

*Юрий Дереникович Апресян (род. 2 февраля 1930, Москва) – лингвист, доктор филологических наук, профессор, академик РАН. Специалист в области русской и английской лексикографии, лексической семантики, синтаксиса и машинного перевода. Один из разработчиков теории лингвистических моделей «Смысл ↔ Текст», глава Московской семантической школы.*

– Это самый мне близкий в мире человек, кроме семьи, – рассказывает об Апресяне Игорь Мельчук. – Но даже смешно говорить «кроме семьи»: он как бы семья, просто трудно делать разницу. Человек невероятно принципиальный, даже слишком, по моим понятиям. Знаете, как Толстой убил комара на лбу? Знаменитая история. Толстой разговаривал где-то с Чертковым на воздухе, и, значит, комар вился. Ну, он его и прихлопнул. А Чертков ему говорит: Лев Николаевич, что вы делаете – вы живое существо убили! – Так я же его предупреждал! – Тот говорит: да, но он все-таки живое су-

щество. – Нет, ответил Толстой, так подробно жить нельзя!

Так вот, Юра живет и жил всегда именно так подробно. Он немножко зануда. Он все, во что верит, совершенно точно соблюдает. И это проявляется в науке, то есть он, например, очень не любит примерных формулировок. Он даже прямо на меня взрывался, когда я говорил: ну какая разница, это же понятно. – «Р-р-р-р-р!» И так же и в жизни – никаких уступок ни по какому поводу. Он несколько раз вляпывался в очень опасные ситуации, ввязываясь за справедливость, где, как мне кажется, можно было бы и не ввязываться: не так очевидно, что это так уж важно и другая сторона настолько права. Если из серьезного, – когда запретили цитировать мое имя, Юра двадцать лет не публиковал две или три блестящие статьи. При том что я за это время повторил его результат – конечно, не зная, они ж неопубликованные. Потом он их опубликовал, и я увидел, что это было сделано раньше меня. Он сказал: я не мог! Причем я бы настаивал, чтобы он это сделал. Нескольких своих молодых коллег, которые сказали, что тогда не будут защищать диссертации, я уговаривал не делать этого. Потому что – ну подумаешь: хорошая диссертация, где я не упомянут, лучше, чем ее отсутствие. А Юру уговаривать было бы абсолютно бесполезно. Вот такой потрясающий человек.

– Мама у меня коммунистка была с 1918 года, – рассказывает Апресян. – Софья Григорьевна Брауде. Она родилась в полосе оседлости, где-то под Курском, но тем не менее как-

то очень старалась и поступила в гимназию. И в 1918 году она уже была членом партии и с золотой медалью кончила гимназию.

– Юрин отец был великим кагэбэшником, – говорит Мельчук. – Причем ужасным совершенно. И его кокнули еще в 1939 или 1940 году<sup>3</sup>. Юрина старшая сестра была замужем за каким-то крупным генералом, и какое-то время, пока Юра себя не проявил, он тоже как бы был «своим человеком». Благодаря этому Юре удалось поступить в Институт иностранных языков, который считался кагэбэшным заведением, партийным – и таким в значительной степени был. Потом, конечно, его отовсюду с грохотом повышибали. Когда такие люди, которые должны быть из своих, разворачиваются на 180 градусов, – этого они совсем не терпят.

– Я окончил школу в 1948 году, – продолжает рассказывать Апресян. – В Москве. У меня была юношеская глупая романтическая мечта: я хотел стать писателем и почему-то совсем уж глупо полагал, что для этого надо получить фило-

---

<sup>3</sup> «Я потом пытался выяснить дальнейшую судьбу отца, – рассказывал Апресян, – но единственное, что мне в 1956 г. удалось из Комитета государственной безопасности получить, – это справка о том, что смерть наступила 22 февраля 1939 г. Причина смерти – прочерк, все остальное – прочерк. Позднее я узнал и текст официального приговора: “Десять лет без права переписки”. Такой приговор в иезуитском сталинском правосудии обозначал немедленный расстрел». (Подробнее см.: Юрий Апресян: «Мне почему-то всегда везло на хороших людей», <https://arzamas.academy/mag/1004-apresjan?fbclid=IwAR1SqtHfIZ9OSAFSnaWgYTc-4i7k-RIVdJasi3Tu6NByGLdqRJbHTWDNugw.>)

логическое образование, и поэтому хотел поступить на филологический факультет МГУ. Притом в моей биографии было некое пятно, состоявшее в том, что мой отец был в 1939 году репрессирован и расстрелян. Но в то время была формула «сын за отца не отвечает», и я свято верил в то, что так оно и есть. Я еще в школе вступил в комсомол, был активным комсомольцем, членом бюро. Я написал про себя всю правду – и не был принят на филологический факультет, хотя у меня был кругом проходной балл за исключением одной-единственной вещи – сочинения. За сочинение мне поставили тройку. И когда я пошел добиваться справедливости и попал то ли к заместителю декана, то ли к какому-то другому официальному лицу, из администрации, тот сначала сочувственно меня выслушал, а потом сказал: «Ну, расскажите о своей семье». Я рассказал о своей семье. «А что отец?» Я говорю: он был репрессирован тогда-то и тогда-то. – «Ну давайте возьмем ваше сочинение и зайдем в деканат».

Отметка за сочинение – это, так сказать, маркированная была вещь, и ее выставляли с учетом всех обстоятельств, а не только реальных знаний поступающего. Зашли в деканат, он стал смотреть на то, что было подчеркнуто в сочинении, и оказалось, что я сделал четыре, по-моему, какие-то ошибки. Я помню, что в школе за сочинение я получил четверку, потому что в слове «поэтому» я сделал перенос на *э: поэ-то-му*. Позднее это перестало считаться ошибкой, но в то время считалось. Тем самым я лишился золотой медали. Тогда зо-

лотая медаль выдавалась только за все пятерки плюс пятерку за сочинение. Впрочем, даже если бы я получил золотую медаль, это не помогло бы мне при поступлении на филфак университета, потому что даже и с золотыми медалистами, особенно в том случае, когда в биографии у них было не все благополучно, бывали такие беседы.

Когда я получил в деканате свои бумаги, в том числе автобиографию, я увидел в ней подчеркнутую черной жирной чертой строчку о том, что мой отец был репрессирован. И уверенности мне добавило то обстоятельство, что в анкете моего друга, который поступал на химический факультет Института тонкой химической технологии, фраза о том, что его отец участвовал в Гражданской войне и скакал конный с саблей наголо, была подчеркнута красным карандашом. Это было приветствуемое обстоятельство. Ну вот, я понял, что напрасно я это написал, и решил: ладно, университет не для меня, надо довольствоваться малым, пойду в Институт иностранных языков, единственный в то время, который еще продолжал прием. И там совершил обман, а именно скрыл при поступлении это обстоятельство: мол, отец умер в 1940 году, – и таким образом был принят и стал учиться.

Стоит сказать, что время с 1940 по 1950-й было такое, когда человек довольно быстро созрел. Время абсолютно несправедливое, подлое. Юношеские комсомольские убеждения во мне были живы приблизительно до 1951 года, когда чересчур явной стала несправедливость той политиче-



ской системы, в которой мы все жили. В 1948 году, восемнадцати лет, я твердо знал, что при первой же возможности поступлю в Коммунистическую партию Советского Союза. Но очень много обстоятельств способствовали разочарованию.

После смерти Сталина режим понемножку стал смягчаться. Я усердно занимался, меня интересовала наука. Писательство отошло. В какой-то момент я понял, что в этой области у меня ровно никаких дарований нет и не стоит и пытаться. В конце обучения, в 1953 году, я написал два диплома: по лексикологии и по методике преподавания. И они были на защите оценены как почти законченные кандидатские диссертации, просто в методическом дипломе не хватает эксперимента, а в лексикологическом – чего-то еще, я уже не помню. Два – потому что меня интересовала и чистая наука, и ее практическое применение. Кстати сказать, в дальнейшем это очень мне помогло на одном переломном этапе. Писал я второй диплом под руководством члена партии Исаака Давидовича Салистры, который преподавал методику. А первый шел по кафедре лексикологии и стилистики, которой заведовал Илья Романович Гальперин, автор работ по стилистике английского языка.

Я уже подал оба свои диплома, спускаюсь по лестнице, и встречает меня Илья Романович Гальперин и говорит: «Юрий Дереникович, знаете, вот мне поступила на отзыв диссертация кандидатская – прочтите ее, пожалуйста, и скажите мне свои замечания, а потом я напишу официальный

отзыв». Я ему сказал: «Илья Романович, я этого делать не буду». Без объяснений. Ну что это такое? В тот же вечер он позвонил моей руководительнице Эстер Моисеевне Бабаджан и предложил загробить мою диссертацию, не допускать до защиты. На что она ему сказала: «Илья Романович, это предложение, эти слова недостойны большого ученого». На этом разговор прекратился. Но преследование не прекратилось.

Состоялась защита, я был рекомендован в аспирантуру всеми тремя кафедрами факультета и благополучно в нее поступил. Более того, уникальный случай: меня пригласили одновременно на полставки преподавать. И, учась в аспирантуре, я преподавал лексикологию, практический английский. Я окончил аспирантуру и почти единственный, а может быть, даже и единственный из всех кончавших аспирантуру представил диссертацию не после, а еще весной, до завершения аспирантуры.

На факультет пришла разверстка отправить двух преподавателей в колхоз на сельскохозяйственные работы. Гальперин отправил меня и еще одну женщину. Вообще работать я любил, и сельскохозяйственные работы некоторым образом любил. Отработал, приезжаю, и первое, что я узнаю: я отчислен с кафедры. Я поднимаюсь в канцелярию, чтобы там узнать детали, мотивировки и прочее. Но уже понимаю, чьих рук это дело. Иду по коридору второго этажа – навстречу мне Гальперин. Я не здороваюсь с ним. Он меня останавли-

вает и спрашивает: «Юрий Дереникович, вы знаете, что у вас больше этой ставки нет?» Я говорю: «Знаю», – и иду дальше. Нету у меня ставки на дневном отделении, но есть же еще вечернее. Там деканом некая Зоя Васильевна Зарубина. Иду к ней. Она говорит: «Ты знаешь, не могу тебя принять: приходил Гальперин и сказал, что тебя брать не следует». А когда я поинтересовалась почему, – здесь будет неприличное слово, – «у него жопы нет», сказал Гальперин Зое Васильевне.

Ну всё, значит, мне надо искать место где-то вне Института иностранных языков.

Тут вмешивается Исаак Давидович Салистра. Он, член партии, идет в партбюро и пишет заявление о том, что Гальперин разбрасывается перспективными кадрами. Гальперина вызывают и спрашивают, а почему, собственно, он разбрасывается. Он берет все обратно. И меня восстановили преподавателем.

А дальше Гальперину издательство «Русский язык» предлагает составить новый англо-русский словарь, двухтомный. К кому обращается Гальперин, чтобы была составлена инструкция по написанию словарных статей? Он обращается ко мне.

Он сверх прочего был жутко ленивый. Познания в филологии у него были очень поверхностные и ограничивались стилистикой, то есть самой такой близкой к литературе, литературоведению областью лингвистики. А более серьезных, так сказать, более алгебраических областей линг-

вистики он совершенно не знал. Вот тогда я погрузился в изучение английских и американских словарей и через год написал инструкцию по написанию словарных статей. Началась реальная работа.

Между тем я остался преподавателем английского языка в Институте иностранных языков, где заработал потрясающий семинар при Лаборатории машинного перевода, где я впервые увидел Игоря Мельчука, Владимира Андреевича Успенского, Олю Кулагину. Это было в лаборатории Виктора Юльевича Розенцвейга. И их новые идеи мне очень понравились.

– Юра – лингвист с совершенно гениальной интуицией, с невероятной работоспособностью, – говорит Мельчук. – И великолепнейший организатор науки. Он единственный, кто смог вокруг себя создать плеяду людей и вести их так успешно до сих пор, сквозь все, что происходило. Если бы меня спросили, кто самый замечательный лингвист в России, я бы сказал: Апресян. Даже впереди Зализняка, потому что Зализняк – это боковая ветвь. Я Апресяна вынужден цитировать в десять раз больше, чем Зализняка, потому что многое из того, что я делаю, опирается на его результаты.

Самое главное – это все, что касается словаря. Это уникальный лексикографический подход. Он создал новую науку фактически: никакой науки лексикографии до него не было. Ну конечно, были люди и до него – например Щерба семьдесят лет назад. Но это все равно как искать предше-

ственников Ньютона – конечно, были прекрасные греческие математики, но это всё несерьезно, это для историков науки. А Апресян создал лексикографию от нуля. И хотя Юра так прямо и не говорил, но вся его деятельность к этому подталкивала: основа любого лингвистического описания – это словарь, потому как все остальное: синтаксис, связи слов – обусловлено только тем, что про эти слова в словаре описано. Это как силовые поля: они, конечно, поля, но они создаются телами. Так слово – это просто основа языка.

Юра, так сказать, по рождению лексикограф: он начал свою профессиональную жизнь с создания словаря английских синонимов и участвовал в этом большом БАРСе<sup>4</sup>, который он потом переделывал много раз. Такого второго словаря двуязычного, я думаю, просто в мире больше нет.

«Я не вижу в нашей стране человека, более компетентного в лингвистических аспектах информатики или же информатических аспектах лингвистики, чем Ю.Д. Апресян», – писал о нем В.А. Успенский.

---

<sup>4</sup> Большой англо-русский словарь.

# **Жолковский**

## **«Он это все попридумывал»**

*Александр Константинович Жолковский (род. 8 сентября 1937, Москва) – лингвист, литературовед и писатель. Кандидат филологических наук, профессор Университета Южной Калифорнии (Лос-Анджелес). Специалист в области теоретической семантики, поэтики, автор мемуарной прозы. Один из разработчиков теории лингвистических моделей «Смысл ↔ Текст». Живет в Америке.*

– Мой родной отец, – рассказывает Жолковский, – Константин Платонович Жолковский, утонул еще до войны, в 1938-м.

Мама Жолковского, музыковед Дебора (Павина) Семеновна Рыбакова, преподавала историю музыки.

В начале войны семья отправилась в эвакуацию.

– Меня взяли с дачи в Загорянке, – вспоминает Жолковский. – Привезли в Москву, чтобы уезжать в эвакуацию. В июле, в августе – не знаю. Эвакуировались вместе со всей Московской консерваторией, где профессорствовал мой папа, точнее отчим, Лев Абрамович Мазель. В Свердловск, где была своя консерватория, – туда же эвакуировали и Московскую. Тогда папа специально женился на маме. В 1930-е годы браки были очень свободны, но чтобы в условиях войны

не разминутся, имело смысл жениться. Они поженились, и мы туда поехали все вместе.

В Свердловске мы жили до 1943 года. Потом вернулись в Москву, в нашу квартиру на Остоженке. Моя любимая няня Дуня, наша домработница, жила в ней и охраняла ее все это время. Квартиру не заселили, не уплотнили, не обокрали. Там в 1954 году умерла моя мама.

Родители очень хотели, чтобы я занимался чем-то серьезным, а не филологией. Они были музыковеды и понимали, как это все мучительно. Но у меня был филологический склад ума, и мама сказала: «А-а, у меня же есть мой рыженький, я его приглашу, и он тебе все объяснит». А «мой рыженький» – это был Мельчук, который одновременно был студентом на филфаке и в Музучилище в Мерзляковском переулке, где он заодно учился истории музыки, игре на рояле, тому-сему музыкальному. У моей мамы он был любимым студентом.

И вот в 1953-м он пришел в гости и стал захлеб рассказывать про жизнь на факультете: политически все жутко некорректно, изображая ужасных идиотов, преподавателей марксизма-ленинизма, – и своими рассказами только усилил мое желание поступать на филфак.

Я поступил в 1954 году – и оказался уже как бы заранее другом Мельчука. А Мельчук как раз стал заниматься началами машинного перевода.

– Когда я кончал МГУ, в 1959 году, – продолжает Жол-

ковский, – и должен был получить распределение<sup>5</sup>, то Самарин<sup>22</sup>, с которым у меня были враждебные отношения, распределил меня куда-то в Пензу. Но тем временем мне нашли приглашение на работу в только еще создававшуюся в Инязе лабораторию машинного перевода. Этому способствовали мой уже тогда опальный учитель Вяч. Вс. Ив́анов и Розенцвейг. За какие-то комсомольские прегрешения у меня был выговор с занесением в личное дело. Брать меня с этим выговором было трудно, но Розенцвейг все как-то утряс.

Директором Иняза была милая женщина по фамилии Пивоварова<sup>23</sup>, которая желала новой лаборатории всего хорошего. И меня прямо с выговором в личном деле взяли на работу – летом 1959 года.

В 1968 году меня стали увольнять за подписание письма в защиту Гинзбурга<sup>24</sup>.

Не давали защитить диссертацию, отзывали характеристику.

«Главное назначение характеристики было служить справкой о благонадежности, – вспоминает Фрумкина. – Поэтому с помощью характеристики можно было манипулировать людьми самым изощренным образом. Самым же распространенным способом лишить человека чего-нибудь был отказ в характеристике».

---

<sup>5</sup> Распределение – направление выпускника вуза в конкретное место на работу в течение 1–2 лет, существовавшее в СССР с 1933 г.



– Но в 1969-м меня не уволили, – продолжает Жолковский. – Надо было проголосовать, пришло много членов кафедры, почасовиков, молодых людей, математиков, которые преподавали на Отделении лингвистики. Они явно не хотели голосовать за увольнение. Тогда кафедрой языкознания заведовал, после смерти Базилевича<sup>25</sup>, Рождественский<sup>26</sup>. Он произнес обтекаемую речь, что, в общем, не надо меня увольнять, а надо дать испытательный срок. Рождественский был членом партии и сыграл роль медиатора. Он хотел выглядеть хорошо. Там еще был Шайкевич<sup>27</sup>, тоже позитивную роль сыграл. Спасал меня. Был и мой главный враг и обвинитель – Егор Клычков, сын, между прочим, репрессированного поэта Сергея Клычкова. Он меня обвинял, говорил, что я темная личность. И тогда Шайкевич произнес цicerоновскую речь: «Егор, ты думаешь, ты сейчас проголосуешь за увольнение Жолковского, придешь домой, где ты оставил свою совесть в шкафу, а она тебя там дожидается? Нет! Она горит в шкафу синим пламенем, твоя совесть, пока ты здесь собираешься голосовать против Жолковского!» Я потом сказал Шайкевичу, который был ни больше ни меньше ученым секретарем института: «Толя, как ты там при таких речах держишься?» – «А я, – говорит, – писем не подписываю».

Решили не увольнять, дать испытательный срок. Все единогласно подняли руки. И я проработал еще пять с лишним лет.

После того как я подписал письмо, меня вызвала Мария

Кузьминична Бородулина, ректор Иняза. Я тогда страшно с ней поругался – в самом конце долгого, как бы пристойного разговора. К разговору я был хорошо подготовлен. Она говорит: «А, вы подписали письмо. Ну ладно. Напишите только объяснительную». Я говорю: «Какую объяснительную? Я же в нерабочее время подписал...» Я знал, что писать в таком случае вообще ничего нельзя. Это первое правило. «Вот если бы в рабочее время...» – «Ну, знаете, мы вас рабочим временем не очень стесняем, у вас свободное присутствие». – «Да, но я сделал это вечером». – «Ну ладно, хорошо, до свидания». Я уже у двери, но тут она, как лейтенант Коломбо из американского сериала (знаете? – “*One more thing...*”), говорит: «Постойте, мне просто интересно, а кто дал вам это подписать?» Дескать, этакое человеческое любопытство! Ну, тут я не ударил лицом в грязь. «Знаете, – говорю, – Марья Кузьминична, по-моему, с моей стороны было бы как-то не по-комсомольски сказать кто». – «Ладно, идите».

Потом в коридоре она со мной уже никогда не здоровалась, не замечала и характеристики не подписала. Она не подписала после того, как я сказал про «не по-комсомольски». Я по возможности «для звуков жизни не щадил». Соклазн был большой, тем более что в тюрьму за такое все-таки не сажали. Так что героизма в этом особого не было, а хохма так и просилась на язык.

Прошло некоторое время, и к нам в институт назначили другого секретаря парторганизации. Он был какой-то пар-

тийный интеллектуал-либерал, он перед этим редактировал в Праге журнал «Проблемы мира и социализма». Его прислали в наш институт для укрепления. А когда надо было дать мне характеристику для защиты через год, этот либеральный парторг, забыл его фамилию, говорит: «Вы принесите мне характеристику, мы там что надо тихо исправим и подпишем, чтобы вы могли защититься». И проректор по научной работе Колшанский подписал мне характеристику, примерно такую: «Родился, работал, еще не умер». И подписал так быстро, что срок действия автореферата, триста шестьдесят четыре дня, еще не истек. Это было с 1968 на 1969 год, и в 1969-м я защитился.

Оппонентами были Долгопольский<sup>28</sup> и Зализняк. Защита прошла успешно. Андрей [Зализняк] не отказался оппонировать, произнес пламенную речь и, кажется, действительно ценил эту мою книжку<sup>29</sup> при всех ее несовершенствах.

Но когда в 1974 году арестовали Солженицына, Бородину просто взяла и не продлила мне договор.

В 1979 году Жолковский эмигрировал.

– Он блестящий лингвист, – говорит Мельчук о Жолковском. – Абсолютно. Его следы менее заметны, потому что в основном это прошло все через меня. И к сожалению, – хотя я, конечно, все время это подчеркиваю, – очень большое количество его заслуг приписывают мне. Не то чтобы совсем без основания – он бы не сделал так. Он очень нетерпеливый. Его жена говорила: «Алик, ты себя ведешь, как

красивая женщина, а я – как умный мужчина». Это правда. Он капризный, прихотливый, с такими порывами... Он очень любит самолюбоваться. А если нужно просто попахать несколько месяцев, и никто не будет тобой восхищаться, это совершенно не для него. Но ряд его идей абсолютно сногшибательные. Скажем, лексические функции – ну, открыл я, заметил явление, а придал этому правильную форму, сообразил, как с этим обращаться, он. Услышав мой рассказ об этом, он говорит: так это же вот что – и точно! И первую семантическую запись придумал он. Ну, потом бросил – он, как что-нибудь придумает, повозится два месяца, поматросит и бросит. Но все же он это все попридумывал. Совершенно гениальная идея вещей, которые он называл «словечки». Я их называю «фиктивные лексемы», ну, официально ссылаясь.

Он написал очень хорошую грамматику языка сомали, классную. Удивительно для человека, который и лингвистикой-то всерьез не занимался, так сказать, помимо нашего общения, а тем более – семито-хамитской лингвистикой. Все идеально сделано. И в описании синтаксиса он открыл такое странное явление, что существуют конструкции, смысл которых похож на слово. Ну, русский пример – это «книг двадцать пять», примерно двадцать пять, и «примерно» скрыто только в порядке слов, больше нигде его нет. И он придумал, как это изображать, – это просто было настоящее открытие. Как все самое гениальное, абсолютно простое, лежавшее на

поверхности, но никто не додумался. Ну, потом я из этого сделал конфетку, но идею-то подал он, было из чего делать. Он никогда не любил доводить ничего до конца, поэтому его влияние на лингвистику все идет через меня. Я довожу все до конца – даже когда это очень мучительно и можно было бы бросить, но я не могу отцепиться.

## Зализняк<sup>6</sup>

### «Сразу стало ясно, что это гений»

*Андрей Анатольевич Зализняк (29 апреля 1935, Москва – 24 декабря 2017, Москва) – лингвист, доктор филологических наук, академик РАН. Автор новаторских работ в области русского словоизменения и акцентологии, а также исследований в области истории русского языка, прежде всего языка новгородских берестяных грамот и «Слова о полку Игореве».*

– Оба моих родителя, – рассказывал Зализняк, – интеллигенты в первом поколении. Отчасти поэтому оба они в силу того, что в ту эпоху казалось очевидным, имеют образование технического типа. При том что оба на самом деле имели склонность к другому. Ну, мама моя в другое время была бы не химиком, как она прожила свою жизнь, а художницей. А отец мой, если бы не та эпоха, был бы не инженером, а архитектором. И это сказывалось постоянно, дома у нас всегда были журналы по архитектуре.

Отец мой был человек, необычайно широко интересующийся всем, что бывает. Правда, в основном из технической

---

<sup>6</sup> Подробнее см.: *Бурас М.* Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников. М.: Индивидуум, 2019.

точной среды, нежели гуманитарной. Но это если не считать архитектуры, которая на грани этих двух вещей. Он очень много мне дал – общего представления о том, что стоит знать и что не стоит. Что стоит постараться уметь и что не стоит. Например, не любил мне объяснять, отвечать на мои вопросы, допустим, как устроен звонок. Давал мне какие-то общие соображения – «а теперь ты сам можешь придумать схему, чтоб он работал». Доводил меня до того, что я ему предлагал некоторую схему, где надо нажать на кнопку и достичь того, чтоб что-то зазвенело. Какие надо придумать соединения. И внушал мне идею – не прямо, но фактически, – что понять коротко можно даже самые сложные вещи. Нужно только смело браться за попытку понять именно суть дела. Научил меня еще ценнейшей вещи: пониманию того, как устроены открытия. В основном его интересовали, конечно, великие открытия техники. Во всех этих случаях имеются две совершенно разные вещи, два достижения человеческого ума абсолютно из разных областей, которые понимать надо – отдельно одно, отдельно другое. Одно – это некая безумная идея, которая рождается в голове человека, не имеющая никакого отношения к практике. Которая, однако ж, имеет великую ценность в том, что она есть идея плодотворная. А другое – это задача инженера. Которому уже сказали, как это должно быть, а вот он должен придумать как, чтобы это оказалось вообще реализуемо. Это тоже очень большая изобретательность нужна, инженерная. Когда эти две вещи склады-

ваются, тогда и получается вот такой бросок в истории цивилизации. Ну и, действительно, закладывалось ощущение, что можно самому дойти до чего-то очень важного, интересного.

И может быть, отчасти на этом я потерял многое из той жизни, которая бывает, когда люди прочитывают тысячи книг. Я не прочитывал тысячи книг. Если человек считает, что он сам до всего может догадаться, то он мало читает. Я замечал, что если человек необычайно глубоко нагружен огромным количеством знаний, то догадываться ему труднее.

– Он мог быть кем угодно! – говорит мне Борис Андреевич Успенский. – Вот был лингвистом, а мог бы математиком или инженером. Такой – как в детстве бывает, у детей – клубок всех возможностей.

Зализняк рассказывал, что в эвакуации, в поселке Манчуж Свердловской области, его, шестилетнего, отдали в группу изучения немецкого языка:

– Я запомнил из этого сам только то, как я составил таблицу всех цветов. У меня было полное ощущение, что имеется некоторая законченная система цветов в мире, и осталось только каждому из них записать, как будет немецкое название. Их не так много было там, шесть или семь.

Очень важно, что это были все цвета, это я совершенно отчетливо помню. Если б мне кто-то объяснил, что цветов существует больше, это было бы очень сильное огорчение.



Я это не случайно вспоминаю, потому что, конечно, это залог очень многого, дальнейшей деятельности, когда я занимался делами, в которых ограниченный корпус надо исследовать. Вот это был первый ограниченный корпус, который я исследовал: шесть цветов. Ну, и про них нужно было не очень много – узнать, как будет по-немецки.

– В 1948 году, – продолжает Зализняк, – я уже покупал в магазинах Москвы все грамматики всех языков, которые мог купить. Меня интересовали сперва европейские языки. Древние тоже очень скоро стали интересоваться: учебник латыни Болдырева у меня, я думаю, тоже 1948 года. Меня интересовал европейский мир. Грамматики и словари.

Я очень быстро установил, что меня не устраивают толстые грамматики, меня устраивают только приложения к словарям. Была такая толстая грамматика французского языка на восемьсот страниц – не пошло. У меня какое-то было ощущение, что не может быть. Не может быть, чтобы было нужно восемьсот страниц, я же не могу восемьсот страниц запомнить! И я стал сам себе составлять грамматики и словари. Например, составил себе список из восьмисот слов, – сам сочинил, – который заполнял по разным языкам. Входили названия цветов, животных. Системы, которые закончены, как птицы. Части тела. Я помню, как меня раздражало, что какие-то вещи ускользают, что все расклассифицировать очень трудно. Идеал – чтоб все было окончательно законченные подсистемы.

– Я руководил кружком по лингвистике для школьников, – вспоминает Мельчук. – И вот он появился на этом кружке когда-то. Я даже не могу вспомнить, как он тогда выглядел. Его особенность – я ее чувствовал, если даже и не понимал. Я не помню наших лингвистических разговоров. Видимо, меня поразили его потрясающие полиглотские способности. С одной стороны, он абсолютно нормальный человек: нормально одевался, нормально держался. Он совершенно от мира сего, не как какие-то чудаки. Тем не менее он был не от мира сего при всем этом. И он таким и остался: соединение двух начал, каких-то очень чудных для меня, непонятных.

В нем все время, абсолютно всегда чувствовалась его какая-то особенность: есть все мы, а есть Андрей Зализняк.

– Что олимпиада существует, – рассказывал Зализняк, – я узнал от агитаторши, которая была прислана от филологического факультета и случайно попала в нашу развалюху. Потому что Пресня входила в зону агитационного обслуживания университета. И что-то она там заметила в доме, какие-то из этих моих грамматик, и сказала: приходите к нам на олимпиаду. Так, конечно, я не узнал бы никогда.

1-е место на олимпиадах два года подряд, в 9 и 10-м классе, и золотая медаль в школе позволили Зализняку в 1952 году поступить без экзаменов в английскую группу филфака МГУ.

– Для папы язык – это не средство коммуникации, «здрас-

ите» – «до свидания», а некоторая система, притягательная своей внутренней стройностью, – рассказывает Анна Зализняк, вспоминая историю о походе, в котором Зализняк был со своими друзьями-математиками. – Когда они плыли на байдарках по Днестру и решили попросить у местных жителей молока, папа просто реконструировал молдавский (румынский) рефлекс латинского *lacte(m)* – получилось *lap̃ti*. И совпало! Для остальных участников похода это был очередной пример папиного полиглотства (которое он всю жизнь отрицал!), что вот, мол, ни фиги себе, оказывается, он знает еще один язык, и какой-то вообще молдавский. Там слово еще получилось смешное – «лапти». А для папы главное впечатление было от того, что умозрительно построенная по схемам сравнительно-исторического языкознания форма оказалась реальным словом, которым пользуются люди для практической коммуникации, ни на секунду ни о чем про это слово не задумываясь.

– Настоящий многогранный, разносторонний учитель мой был, конечно, Вячеслав Всеволодович Ива́нов, – рассказывал Зализняк В.А. Успенскому. – Тогда еще совсем молодой в качестве учителя. С 4-го курса я уехал во Францию, это 1956 год. Ива́нов снабдил меня списком всех парижских профессоров, у которых следует слушать лекции, – с твердым наказом: лекции надо выбирать не по тематике, а по лекторам. Бенвенист, Мартине и Рену. Еще немножко Соважо. Еще немножко Лежён. Ну, Бенвенист великий лингвист. Но,

если угодно, он иранист первоначально. Мартине – общая лингвистика. Рену – древнеиндийский. Лежён – крито-микенская филология. Соважо – курс востоковедения. Я только на них и ходил, по этому списку.

Вернувшись в Москву в 1957 году, Зализняк начинает читать спецкурсы по разным языкам: санскриту, древнееврейскому, классическому арабскому, древнеперсидскому и др., – причем делает он это особенным образом.

– Я давно обнаружил, – рассказывал Зализняк, – что можно деванагари<sup>7</sup> изучать в течение семестра, в течение четырнадцати занятий, – а можно задать на дом, чтобы выучили к вечеру. Результат лучше во втором случае. Про арабский то же самое.

– Такая, как бы сказать, алгоритмическая методика, – вспоминает Светлана Михайловна Толстая. – Дается алгоритм языка; все что можно про него рассказывается; везде, где можно, в таблицах, – и не важно, усваивается ли это сразу. Конечно, не усваивается, конечно, это просто берется в качестве такой основы, по которой дальше сверяется все, что делают. И конечно, какие-то потом бывают комментарии, уточнения, но основной корпус сведений дается чуть ли ни с первого занятия.

«На первом, вводном занятии Зализняк завораживающе-панорамно, едва ли не колдовски, “прошелся” по всей

---

<sup>7</sup> Один из видов письма, распространенных в Индии, которым записано большинство древнеиндийских памятников. Используется и в современном хинди.

арабской фонетике, графике и грамматике, о которых нам до этого практически еще ничего не было известно, указывая те пункты, по которым они, эти аспекты арабского языка, нам, индоевропейцам, особенно интересны», – пишет Н.В. Перцов.

– Пастернак был исключен из Союза советских писателей, – вспоминает Мельчук. – А затем удар, обрушившийся уже прямо на меня: из Московского университета, где я был в заочной аспирантуре, со скандалом уволен Кóма – Вячеслав Всеволодович Ива́нов, молодой преподаватель, блестящий лингвист, кумир студентов, руководитель моей кандидатской диссертации. Причина: он публично не подал руки Корнелию Зелинскому, известному литературному критику и литературоведу, который особо изощрялся в нападениях на Пастернака; на собрании писателей Зелинский с трибуны пожаловался на этот инцидент – и университет немедленно принял меры...

Я решил написать письмо протеста министру культуры (в ведении которого находился университет) и заявил об этом на собрании аспирантов – увы, совершенно не помню, кто там присутствовал. «Кто захочет подписать письмо вместе со мной, может сейчас или позже – до послезавтрашнего утра – сообщить мне об этом!» *Ни один* из аспирантов (человек двенадцать) не открыл рта, глядя в землю. Что ж, один так один. На следующий день я составил письмо. И вдруг поздно вечером в дверь моей коммунальной квартиры позвонил...

Андрей Зализняк! Он не был на собрании аспирантов, но от кого-то узнал о моем намерении и примчался поставить свою подпись. Это был его первый личный визит ко мне. А ведь Андрей всю жизнь чурался любых общественных выступлений, но по такому случаю он не счел возможным уклониться.

– Мне все разумные люди объяснили, что меня выгонят [из аспирантуры] под тем или иным предлогом в короткий срок, – рассказывал Зализняк. – Естественно, мне больше не жить. Ну, и советовали уйти самому. Я послушался. А более всего послушался совета Топорова<sup>3132</sup>, который очень ласково меня пригласил в Институт [славяноведения РАН].

– Всех удивлял этот поворот в Зализняке от индоевропейистики, которой он занимался и обучался в Париже, к сугубо русской тематике, – говорит С.М. Толстая. – Он совершенно не слушал никаких этих курсов: ни современного русского языка, ни исторической грамматики, ни диалектологии – ничего. Все это было ему как-то не интересно и далеко от него. А интерес был к структуре языка. И он даже говорил, что его интересуют не языки – при его владении столькими языками его языки не интересуют – его интересует язык вообще, что это за устройство такое.

«Зализняк открыл новый жанр самодостаточных лингвистических задач, – отмечает В.А. Успенский. – С одной стороны, задачи этого жанра дают прекрасный материал для исследования мыслительной деятельности человека <...>

с другой – сыграли поистине историческую роль в деле подготовки лингвистов. Дело в том, что именно опубликование в 1963 году этих задач сделало возможным лингвистические олимпиады школьников»<sup>33</sup>.

В 1965 году Зализняк «защищает кандидатскую по алгоритмическому описанию русского словоизменения, – пишет лингвист Дмитрий Сичинава о Зализняке в некрологе. – Этим алгоритмом пользуются все поисковики, спелчекеры, машинные переводчики, – но тогда или слов таких не знали, или все это было далеким будущим»<sup>34</sup>. В.А. Успенский с помощью Р.Л. Добрушина<sup>35</sup> и А.Н. Колмогорова<sup>36</sup> (все математики!) добился, чтобы ему за эту работу сразу была присуждена докторская степень.

– Зализняк считал, – говорит Мельчук, – что если что-то не на сто процентов идеально, то этого и нет. А стопроцентную идеальность в новой развивающейся науке практически невозможно иметь. Поэтому Зализняк только тем занимался, где можно достичь ста процентов. Что спасло всех нас. Потому что, если бы он занимался более широко, ни у кого из нас не осталось бы ни кусочка территории. Это я говорю совершенно серьезно, он настоящий гений. Но к счастью для нас, он такой чистюля. Если не стопроцентно, ему уже не годится. Ну, а я одесский мастеровой: мне лишь бы стояло и работало. А сто процентов или пятнадцать – это мне до лампочки.

С 1982 года Зализняк занимался русской и древнерусской акцентологией и изучением языка берестяных грамот.

– Янин сказал про Зализняка: «Это лучшая находка Новгородской экспедиции», – рассказывала Елена Александровна Рыбина.

«Сразу стало ясно, что это гений, – говорит В.А. Успенский, вспоминая студенческие годы Зализняка. – Он и есть гений. Кстати сказать, гениев очень немного. Я вот в своей жизни общался только с тремя: с Зализняком, с Пастернаком и Колмогоровым, больше ни с кем»<sup>37</sup>.



# Ива́нов

## «Он действительно впередсмотрящий»

*Вячеслав Всеволодович Ива́нов (имя обычно сокращается как Вяч. Вс.; 21.08.1929, Москва – 7.10.2017, Лос-Анджелес) – лингвист, переводчик, семиотик и антрополог. Доктор филологических наук, академик РАН, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Один из основателей Московской школы компаративистики.*

«Это фигура поистине легендарная, – пишут об Ива́нове В.А. Дыбо и С.А Крылов. – В течение многих лет он, пожалуй, являлся самым знаменитым в мире из российских ученых второй половины XX века. Вероятно, почти никто из филологов (по-видимому, не только в нашей стране, но и за рубежом) не мог сравниться с ним по широте круга проблем, затронутых им в его многочисленных научных трудах, по охвату культур и по многообразию междисциплинарных связей, выявленных им в его семиотических и культурологических исследованиях. <...> Круг лингвистических интересов Иванова был очень широк. Он охватывал и общие проблемы генеалогической классификации языков мира, и индоевропеистику <...> и славянское языкознание. <...> Благодаря

трудам Иванова середины 1950-х годов в нашей стране была фактически возрождена индоевропеистика и создана отечественная хеттология, начато изучение тохарских языков»<sup>38</sup>.

– Он был учителем не только в области научных занятий, он был редким образцом свободного поведения в советское время, – говорит об Иванове Жолковский<sup>39</sup>.

Вяч. Вс. Иванов родился в семье писателя Всеволода Иванова и актрисы и переводчицы Тамары Владимировны Кашириной. Про нетривиальное ударение в своей фамилии (Ива́нов, а не Ивано́в) он рассказывал следующее:

«Ива́нов – это правильное старое произношение в Сибири. Мой отец из Сибири, и наша фамилия в Сибири всегда звучала так. Вообще мы, конечно, никакие не Ива́новы, потому что мой предок – это незаконнорожденный сын генерала, адъютанта генерал-губернатора и барона Кауфмана, покорителя Туркестана, и, предположительно, экономка родила от него. А нижний по чину взял на себя вину вышестоящего»<sup>40</sup>.

Про своего отца Иванов говорил: «Конечно, плохо, когда писателя преследуют. Но еще хуже, когда превозносят. Его повесть “Бронепоезд № 14–69” стала классикой, ее потом то запрещали, то заставляли переделывать. Никому и в голову не могло прийти, что у Всеволода Иванова есть вещи намного сложнее и интереснее знаменитого “Бронепоезда...” в поздних вымученных редакциях. Для большинства он так и

остался автором одной повести.

Когда такого человека видишь рядом с собой, то в это трудно поверить: он ведь, как все, принимал пищу, варил по утрам кофе. Все, что он рассказывал, звучало фантастически.

В юности, как многие тогда, был увлечен практической йогой. Но некоторые вещи про отца мне до сих пор не понятны. Одна из них – его выступления в цирке. Сохранились афиши, где он выступал как знаменитый фокусник Бен Али Бей. Номер назывался “протыкание себя шпагой”. Отец так до конца и не раскрыл мне тайну этого трюка. А еще раньше какое-то время он жил в западносибирской деревушке при полной аскезе. Не ел мясной пищи, не знал женщин. Не мылся. Но ведь и Будда, уйдя из дома, несколько лет не мылся. По вечерам отец выходил из своей избушки и шел на опушку леса. Садился на пенек, и к нему приходили звери. Но еще важнее были для него отношения с растениями – он ощущал, как растут травы. Это длилось несколько недель. Потом он влюбился в какую-то женщину, вся аскеза кончилась, и, когда он через несколько дней сел на свой пенек, никто из зверей к нему не пришел»<sup>41</sup>.

«Когда родился, мама меня назвала Комочек, – вспоминал Иванов, – я всегда был такой шарообразный. Это маминно имя, а потом мне не удалось освободиться»<sup>42</sup>.

Детское прозвище «Кóма» так и осталось у него на всю жизнь. В глаза его так называли только близкие, а за глаза –

очень многие.

— Кома, — рассказывает И.А. Мельчук, — в основном занимался компаративистикой. Кроме того, у него есть колоссальная энциклопедия индоевропейской жизни. Но этого я по-настоящему оценить не могу — я вижу, что это великое произведение, когда мне надо, я туда заглядываю, но я далеко не специалист. Если вы меня спросите, что реально Кома сделал в лингвистике как таковой, результат я назвать не смогу. Но он сделал гораздо больше, чем получить сам результат: он для всех нас непрерывно, — как это сказал Ломоносов? — «сопрягал вещи далековатые». У него дар видеть общее в том, что на первый взгляд ничего общего не имеет. Например, идею языка-посредника как семантической структуры именно он подал. Он сам этим не занимался и ничего не сделал — он все время про это говорил, и в конце концов я стал этим заниматься. Он не занимался семантическим представлением, которое начали разрабатывать Жолковский и Щеглов<sup>43</sup>, потом Жолковский со мной, и мы сделали. Но он подсказал, что это надо делать, и назвал имена западных людей, которые что-то такое робкое в этом направлении начинали.

Я думаю, что во взлет лингвистики — появление, ну, четырех-пяти действительно очень крупных фигур и пары десятков крупных, просто появилась российская лингвистика ниоткуда, — в идейную сторону этого дела, я думаю, большой взнос Иванова.

Роль его для лингвистики не в собственных результатах, а в проталкивании важных идей, которые не приходили в голову людям нижестоящим. Он действительно гениально одаренный человек – взять хотя бы тот факт, что он знал пятнадцать языков древних, орудовал ими, как я орудую русским. Держать в голове клинопись: хеттскую, аккадскую, древнеперсидскую, – все на этом читать...

Таким образом, если говорить, кто вообще создал российскую лингвистику, придется начать с него. Хотя роль его была косвенная, потому что дальше стоят люди-организаторы, такие как Розенцвейг и Реформатский<sup>44</sup>, которые реально совсем мало сделали, я имею в виду, получили результаты, про которые можно сказать: вот он доказал вот это. Они этого совсем не сделали, но они настолько способствовали работе других, что без них вообще ничего бы не было. Розенцвейг, Реформатский, Успенский. Потом уже более мелкие товарищи. И конечно, всему этому очень сильно покровительствовал Ляпунов, который уж к лингвистике совсем никакого отношения не имел и отмахивался от нее, но именно он проталкивал все это. Такое, конечно, только в условиях концентрационного лагеря может возникнуть, когда нужен партийный математик, имеющий военный чин, чтобы я мог опубликовать статью про падежи. Сплошная комедия, но вот факт – так было.

Кроме того, Иванов же не только лингвист. Он очень неплохой переводчик, он поэт – ну, может быть, не само-

го экстра-класса, но высокого класса, который прививал хороший вкус; культуролог, который непрерывно сравнивал абсолютно невозможные вещи: какие-нибудь религиозные аккадские утверждения и математические структуры в Индии, — кажется, что ничего общего не может быть, а вот есть общее. У него был замечательный соратник Топоров — человек другого типа: сдержанный, очень немногословный, но невероятно продуктивный. Вот у кого результат на результат всегда воротился. Но, я думаю, в этой паре Иванов был затравщиком: он давал энергию и заглядывал вперед, видел пути.

«В детстве я тяжело заболел костным туберкулезом, — вспоминал Вяч. Вс. Иванов. — Врачи хотели срочно отправить меня в санаторий. Маме удалось уговорить знаменитого старичка-врача Краснобаева сделать ей исключение, если она обеспечит для меня две вещи — свежий воздух и неподвижность. Но разве может сознательно не двигаться шестилетний ребенок? Меня должны были за ноги и за руки привязывать к кровати. Свободными оставались только руки ниже локтя — можно было держать ложку или, к примеру, книжку. Мне было неполных шесть лет. Два года я в прямом смысле слова был привязан к постели. И писать, и читать я учился лежа. Сначала меня учила мама, у которой были навыки учительницы. Ведь она вступила в партию после революции и уехала в провинцию учить детей. Она пыталась меня обучить письму, но это давалось с трудом. Ведь рука была при-

вязана, поэтому почерк был ужасный. Я лишь потом, с четырнадцати лет, стал исправлять почерк, когда стал писать по-английски. А вот чтение пришло быстро. Это было мое открытие. Я рано сообразил, что не нужно читать все слово, а можно посмотреть на него и догадаться, что в конце. Это было озарение. Я практически сразу стал читать очень быстро. До болезни я был безумно энергичен, обожал футбол, много бегал. Вся моя энергия во время болезни ушла в чтение. С 1935 до лета 1937-го – время моего лежания – это время чтения. У меня было до 4-го класса домашнее образование из-за болезни, в 5-м классе уже можно было сидеть, но я мало ходил в школу. В 6-м классе не учился из-за эвакуации. В Ташкенте пришлось за один день выучить всю программу по математике и сдать, чтобы меня зачислили в 7-й класс. Но потом я заболел тифом и опять не учился. В старшей школе уже учился нормально, хотя много болел. Так что чтение было настоящей школой»<sup>45</sup>.

В 1951 году Вяч. Вс. Иванов окончил романо-германское отделение филфака МГУ и поступил в аспирантуру, после которой остался преподавать при кафедре общего и сравнительного языкознания. На защите кандидатской диссертации в 1955 году ему было решено присудить степень доктора наук, но ВАК<sup>8</sup> ее не утвердила (якобы были потеряны документы). Докторскую ему удалось защитить лишь в 1978 году в

---

<sup>8</sup> Высшая аттестационная комиссия (ВАК) – государственная структура, занимающаяся утверждением ученых степеней и званий.

Вильнюсском университете – раньше и в других местах не давали из-за его «неблагонадежности».

– У него был тихий голос, – рассказывает Мельчук, – и он совершенно не имел ораторского вида. Вот его последние фильмы, где он уже старенький и с трудом говорит, – но он и молодой был примерно такой же. Возможно, из-за того, что его отец такой знаменитый, он как бы вначале, в самом начале на какой-то короткий момент стал своим человеком для советской власти. А именно – когда впервые послали советских ученых за рубеж на конференцию, на лингвистический конгресс в Осло, – это 1957 год.

В октябре 1958 года Борис Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе, чего ему не смогли простить на родине. В тот же день Президиум ЦК КПСС принял постановление «О клеветническом романе Б. Пастернака», в котором решение Нобелевского комитета было названо очередной попыткой втягивания в холодную войну. Пастернака исключили из Союза писателей СССР, началась его травля в СМИ. «На общемосковском собрании писателей, когда его исключали из их Союза и требовали выслать его из страны, критик Корнелий Зелинский настаивал на том, чтобы репрессии распространились бы и на меня, – вспоминал Иванов. – Мало того, что я защищаю Пастернака и не подал руки Зелинскому, потому что тот написал статью против Пастернака. Я еще на стороне невозвращенца Романа Якобсона<sup>46</sup>. На филологическом факультете Московского университета,



где я тогда работал, учредили комиссию, которая должна была выявить мои отклонения от советской идеологической нормы. <...> После того как на основании заключения комиссии из университета меня уволили, мое знакомство с Якобсоном оказалось и препятствием для получения характеристики, которая требовалась для поступления на новую работу»<sup>47</sup>.

«Когда я впервые увидел его, – пишет В.А. Успенский, – он был студентом кафедры английского языка филологического факультета Московского университета. Впоследствии он был заместителем главного редактора журнала “Вопросы языкознания”, руководителем группы математической лингвистики Лаборатории электро моделирования Академии наук, руководителем группы машинного перевода Института точной механики и вычислительной техники Академии наук, председателем Лингвистической секции Совета по кибернетике Академии наук, заведующим сектором структурной типологии славянских языков Института славяноведения Академии наук (сотрудником этого сектора он состоит и поныне), народным депутатом СССР, директором Всесоюзной библиотеки иностранной литературы, председателем секции переводчиков Московской писательской организации, заведующим кафедрой теории и истории мировой культуры Московского университета... Тогда он был просто Комой»<sup>48</sup>.

– Иванов нас – ну, «нас» я говорю про нескольких чело-

век, про которых я знаю, – разбудил и превратил в ученых, – говорит Мельчук. – Советский университет в то время, когда я учился, это было что-то абсолютно чудовищное. Я первые три университетских года вообще при Сталине жил, когда вместо языкознания преподавался предмет «введение в сталинское языкознание». Теперь в это поверить трудно. Но факт. Никакой, конечно, лингвистики там не было. Я думаю, что практически для всех нас с поправкой на личные особенности Иванов играл одну и ту же самую роль: он подталкивал и указывал, называл разумные темы, он обращал внимание на вещи, где можно напороться, в тупик зайти и так далее. Он действительно вперёдсмотрящий. Я думаю, что он эту же роль сыграл для очень многих. Он был такой пастырь, водитель.

– Он не был гоним специально, – рассказывает Борис Андреевич Успенский, – но, скажем, ему не дали защитить его кандидатскую диссертацию как докторскую, хотя он, несомненно, заслуживал этого. Еще что-то. Мелкие неприятности, которые власти, что советские, что нынешние, всегда делают. Он был человек исключительно эрудированный, был в курсе новейших событий в лингвистике и рассказывал нам о них, говорил: «Вот такая проблема, хорошо бы этим заняться».

Он был замечательный профессор. То есть лектор, который читает лекции, но творческий лектор. Когда его уволили из университета – за дружбу с Пастернаком, формула, ко-

торая должна быть к чести! – и он перешел в Институт точной механики Лебедева, он стал выступать с докладами, по-моему, очень неудачными, потому что он был очень связан со студенческой аудиторией. С потерей студенческой аудитории это уже было совсем не то. Мне казалось, что часто его лекции еще и тривиальны.

А потом он оказался во главе всего: создавал институты, делал академиков... Это, конечно, идет на пользу академикам, но не человеку, который это делает. У него был такой все-таки чиновничий характер. Он хотел, чтобы его почитали.

– Человек он был явно очень хороший в целом, – говорит Мельчук, – в смысле суперчестный, супердоброжелательный, суперпринципиальный. Ну, у него были и мелкие такие черточки: он был очень обидчивый, например, неразумно обидчивый. Он же очень поссорился с Жолковским на всю жизнь из-за злых – ну, может быть, не очень хорошего вкуса, – но, по-моему, остроумных шуток. Жолковский оценивал Кому еще выше, чем я, – он был к нему ближе по интересам. Я занудливый такой крохобор-лингвист в строгом смысле, Жолковский – нет. Да и получилось очень некрасиво. Я пытался вмешаться, объяснить, но мне тоже попало по башке.

Но это мелочи жизни. Не это определяло его роль и его фигуру. Человек он был абсолютно без страха и упрека. Он никогда не уклонялся от того, что могло бы быть опасным

или неприятным, он работяга невероятный. Кстати, одно из его высказываний, которое я сохранил на всю жизнь, я знаю именно от Жолковского. Кома где-то был на юге: в Сухуми, Батуми, – и там на рынке ему жена велела что-то купить. И он покупал сливы у какого-то там товарища, грузина, а одновременно он – я забыл уже с кем, может быть, с Успенским или с Жолковским – вел какой-то очень ученый разговор и не смотрел, что происходит. Он, значит, указал, каких слив он хочет килограмм, а этот товарищ, видя, что на него не смотрят, стал класть сливы из другой корзинки – похуже. Арина Жолковская (это первая жена Алика, теперь она Арина Гинзбург) увидела это и подергала Кому за рукав: смотрите, он кладет не те сливы. Кома говорит: «Ну что же вы кладете не те?» Тот стал говорить, что это все равно, и Кома произнес: «Нет, послушайте, должны же быть известные градации!» Тот был пришиблен на месте таким заявлением и немедленно положил правильные, хорошие сливы.

А на все эти бесконечные должности, я так думаю, – продолжает Мельчук, – Кома соглашался именно только потому, что считал, что это его долг, что он что-то полезное может делать. Он хотел среди этих людей играть ту же роль, какую он сыграл по отношению к нам, но это были не те люди. Они смотрели, как бы урвать, а не как бы что-то сделать. И у него ничего не вышло, и он полностью порвал все связи с Россией, к сожалению.

# Мельчук

## «Нестерпимый блеск его научных и человеческих достоинств»

*Игорь Александрович Мельчук (род. 19 октября 1932, Одесса) – лингвист, кандидат филологических наук. Профессор Монреальского университета. Один из основоположников российской структурной лингвистики. Один из первых специалистов по машинному переводу, создатель теории лингвистических моделей «Смысл ↔ Текст»<sup>9</sup>. Живет в Канаде.*

«За безупречно украинским “Игорь Мельчук” скрывался огненно-рыжий еврей Иегошуа (т. е. Иисус, как он с гордостью пояснял), похожий на Романа Якобсона и Вуди Аллена, – пишет о нем Жолковский. – Он в буквальном смысле слова не мог молчать и пребывать в неподвижности».<sup>49</sup>

---

<sup>9</sup> «Модель “Смысл ↔ Текст” – это, по замыслу ее автора, многоуровневая система правил, взаимодействующих со словарями особого типа, с помощью которой смысл, заданный в виде сложного семантического графа, преобразуется в множество выражающих его, т. е. синонимичных друг другу текстов (реально – предложений), а текст (реально – предложение) – в множество его омонимичных прочтений в виде семантических графов». «Более сильной лингвистики, чем наша, нет ни в одной другой стране». Интервью Михаила Гельфанда и Ирины Левонтиной с Юрием Апресяном. Газета «Троицкий вариант» № 4 (223) от 28.02.2017 и № 5 (224) от 14.03.2017.

– Родители у меня – это целая история, – рассказывает Мельчук. – Мама из очень хорошей, добротной, интеллигентской еврейской семьи. Бабушка кончила Новороссийский университет, то есть в Одессе, и была зубным врачом. Пришла революция, и товарищи большевики полностью раздолбали всю бабушкину жизнь: у нее отняли ее зубную практику, выгнали на улицу с двумя маленькими дочками. Поэтому большевиков она не любила очень решительно.

Но жить надо было, и мама где-то в 1930 году поехала учиться в Харьковский политехнический институт. В 1931 году ее курс отправлялся на практику. А директором этого института был мой папа.

Папа мой совершенно другого происхождения. Он из семьи мелких предпринимателей, очень бедных. Живших в Киеве на Подоле. Раньше внизу от Подола, прямо на берегу, был такой район – Предмостная слободка. Который в основном построили, поддерживали и населяли евреи, занимавшиеся сплавом леса. Был такой еврейский отходный промысел. Они не то что сами сидели на плотях, но они это организовывали. Снабжали инструментами и всем прочим. И дед, видимо, был одним из таких, третьеразрядных уже, посредников. Там они жили, как в Венеции, в постройках на сваях. Потому что они хотели свои лодочки при себе держать.

Деда убили грабители в 1916 году. Просто ограбили и убили на улице ночью. Семья была очень большая, детей было два или три брата и несколько сестер. Из них пережили вой-

ну только трое: мой отец, его старший брат и одна из тетей. Все остальные погибли в оккупацию, Киев – известное дело...

А отец стал юным большевиком. Он вступил в партию в начале 1918 года. Революция уже произошла, но Украина еще не была советской. И стал красным командиром в восемнадцать лет. В это время создавалась будущая Первая червонно-казачья дивизия. И он, значит, лихой кавалерист, отслужил там.

После Гражданской войны он остался – что-то вроде разведывательно-чекистской службы. Это мои вычисления, этого никогда вслух не говорилось. Но я знаю, что он несколько раз нелегально ходил в Польшу – ясно, по нехорошим делам. Один раз его даже чуть не поймали. Это он рассказывал.

Но в какой-то момент он симулировал сумасшествие. Шесть месяцев его продержали в психиатрической лечебнице, признали полностью невменяемым – и таким образом он выпал из системы ЧК. Оттуда же нельзя уйти по доброй воле.

Я не знаю, где он провел пять или шесть лет своей жизни, но вынырнул директором Харьковского инженерно-строительного института. Я думал, что это семейная легенда, потому что он не имел никакого образования, даже четырехклассного, и писал по-русски просто ужасно, на уровне ученика 2-го класса. Потом, в старости, выйдя на пенсию, он научился прилично писать. Каким образом он мог стать директором института, я не знаю. Но я проверял: Олександр

Юрийович Мельчук значится как первый директор.

Он был большой прохиндей. Он знал много гитик и умел совершать некоторые чудеса. Особенно среди дам. При этом он был небольшого роста, меньше меня, – уж, казалось бы, я и сам коротышка. В старости такой толстенький и округленький. Но даже тогда отбою не было!

И вот он встретил в 1931 году мою бедную маму. Увидел ее на платформе, когда курс уезжал на практику. Он вскочил в поезд – проверить, как его студенты там устроились. Ну, и в результате родился я!

Он просто поехал с ними – не во Владивосток все-таки, но довольно далеко. А он к этому времени был счастливо женат, на нем было уже двое детей, несмотря на то что ему еще не было тридцати лет. Значит, произошел большой скандал, потому что членам партии такого не полагалось, естественно. Ему пришлось бросить работу и все на свете. Бабушка, мамина мама, его ненавидела просто до дрожи: гнусный коммунист, неграмотный, некультурный, нахальный... Но ребеночек!

Я родился в Одессе все-таки. Но меня совсем маленького родители увезли в Москву. Мама умерла очень молодой, не дожив до тридцати лет, от рака, во время войны. Я ее последний раз видел в начале 1942 года, в эвакуации, в городе Асбест на Урале. Потом она вернулась в Москву. Она работала в какой-то сложной финансовой системе промышленных банков, была какой-то очень ответственный работник



несмотря на молодость. В Москве она год проболела и умерла. И больше я ее не увидел. А отец мой женился в конце концов снова, хотя, судя по тому, что я видел и наблюдал, он мать безумно любил. И долго после ее смерти – года четыре или пять – он прожил как монах, что для такого человека, видимо, было невозможно.

Во время моего детства и он, и она работали как сумасшедшие – работали по ночам, днем спали или пропадали на целые дни. Жизнь в 1930-е годы была запредельно ужасна для всех людей.

Мать я вообще не помню, я только ходил на ее могилу и ухаживал, цветы сажал до последней минуты, пока не уехал. Воспитывала меня бабушка.

А с отцом у меня были очень плохие отношения. Я с ним не разговаривал лет пятнадцать. По тысяче причин, которые я тогда не понимал, но они были всякие – и личные, и политические. А я был его любимчиком, вообще-то говоря. Но вот так. Я оценил его только через много лет после его смерти.

Когда Сталин помер, к отцу явились его приятели, о которых двадцать лет ни слуху ни духу не было, – за что-то благодарить. Я думаю, что отец тайком помогал их семьям, пока они сидели. Вслух это не говорилось, но, по всему судя, он именно это делал все время.

А когда была война, нас отправили в эвакуацию. Хотя отец был в большом положении, но единственное, что он сумел

сделать, — может быть, он не хотел использовать свое служебное положение, — но нас с бабушкой и сестренкой отправил в эвакуацию в теплушках. Каким-то третьесортным эшелоном, в середине августа, когда немцы подходили к Москве. Эшелоны, конечно, бомбили, дважды разбивали наш паровоз. В общем, весело было.

В эвакуации я заболел дистрофией, чуть не умер. В городе Асбест, потом в Свердловске. Меня спасло то, что выжили и нашли нас тетка и дядя, сестра матери и ее муж, которые чудом выбрались из Одессы с последним военным транспортом и добрались до нас в Свердловске. Они сдавали кровь в госпитале, регулярно, дважды в неделю. Получали специальное питание и кормили нас с сестрой и бабушкой.

Мы вернулись в Москву в конце 1943 года или в начале 1944-го, мне уж теперь точно не вспомнить. Жили на углу Боброва переулка. Напротив — здание страхового общества «Россия», в те времена оно было самым высоким домом в Москве. И я пошел в школу. Это была 276-я школа, бывшая гимназия *Lycée de Sainte -Catherine*, французская. Там я и проучился до 10-го класса. В мое время это была нормальная такая, стандартная школа, ничем не примечательная.

Я любил математику и физику, но видел, что особых талантов у меня там нет. Было много ребят, которые очевидным образом были меня сильнее в этом деле. Я никогда не хотел быть лучшим — мне совершенно все равно, но я видел, что вот в этом деле у меня способностей больше, чем у дру-

гих, а в том – таки нет. Кроме того, я же идеалист был ужасный. Я и сейчас, наверное, все еще им остаюсь. И я хотел служить на благо народу. Коммунистическая партия, товарищ Сталин – я хотел стать видным коммунистом. Ну как, папаша такой, все потому. И поэтому после школы я попытался пойти на исторический факультет университета. Потому что я считал: где же еще готовят культурных работников партии? От философии меня тошнило просто с раннего детства. Значит, такого выбора не было.

Пришел я на исторический факультет. И дама в приемной комиссии, глянув на мои документы, – я забыл точные слова, но выражение лица было очень дружелюбным, – мне сказала: «Я не знаю, понимаете ли вы, что вам сюда не попасть». Она мне доходчиво объяснила: «Не теряйте времени, это безнадежно». Ну действительно, была жуткая процентная еврейская норма. Кажется, три процента, да и то не на всех факультетах.

И я тогда решил, что раз нельзя никак на исторический факультет, пойду-ка я на филологический. Хотел пойти учиться на испанское отделение. Ну, прежде всего, Латинская Америка. А кроме того, у меня было большое пристрастие к Испании: Республика, гражданская война и все прочее. И я собирал деньги на республиканскую Испанию, мне было пять лет. Помню, что я ходил по квартирам и не мог дотянуться до звонков, – так я ходил с палочкой, чтоб нажимать на кнопки. Собрал сколько-то денег и даже получил за

это какую-то премию.

В общем, я решил пойти научиться испанскому языку. Поступить я поступил, но меня приняли только на немецкое отделение. Как потом оказалось, всех евреев приняли только на немецкое отделение. Почему, не знаю. А я не хотел! Я хотел на испанское.

Мне стали говорить, что там нет мест. Я пошел нашел какую-то девушку из Тьмутаракани, которой был испанский язык нужен, как мне – чирей в одном месте. Она хотела только на немецкий, потому что там, в области, где она жила, нужны преподаватели немецкого языка. Привел ее к замдекана и говорю: «Вот она хочет сюда, а я хочу туда. Почему нельзя?» Ну, развел большой скандалеро. Морща носами, нас разменяли.

Сначала я как-то о лингвистике даже и не помышлял. Просто мне очень нравился язык. У нас была замечательнейшая преподавательница, человек, который оказал большое влияние на мою научную жизнь, – Эрнестина Иосифовна Левинтова.

Она – сестра знаменитого математика. Это Каганы, семья великих математиков из Одессы. А Левинтовы – одна из ветвей. Собственно говоря, я из-за Эрнестины полюбил лингвистику. Если в школе нас учили очень хорошо, то в университете нас учили омерзительно. Просто пять лет потерянных – кроме испанского языка и Эрнестины Левинтовой.

Ну и как-то мне лингвистика начала больше и больше нра-

виться, я начал чего-то читать. И в этот момент, 14 января 1954 года, американцы провели первый эксперимент машинного перевода – с русского на английский. И об этом эксперименте прочел второй человек, сыгравший колоссальную роль в моей научной судьбе: Ляпунов, профессор математики Московского университета. Он был первым, кто начал в Советском Союзе внедрять кибернетические методы.

Он прочел и пришел в полный восторг. Ляпунов, в отличие от большинства советских профессоров, был из дворянской семьи, из очень хорошей. Был знаменитый композитор Ляпунов, знаменитый филолог Борис Михайлович Ляпунов, был математик первоклассный Ляпунов – все его дядя! Сам он знал французский с детства, потому что имел хорошую бонну, и вот он сказал: а почему бы нам не попробовать, чем мы хуже? Собрал трех своих аспиранточек: «Вот, рассмотрите», – но они ни одного языка толком не знали. А у одной из них, Наташи Рикко, был возлюбленный, Дима Урнов, он теперь большой шекспировед. Она ему сказала, что им нужен человек, который хорошо бы знал языки и интересовался научными методами. И в этот же день вечером Дима шел в университет и налетел на меня. Или я налетел на него. Он говорит: «Слушай, прямо вот!..» И рассказывает мне все это дело. Я вообще слов «вычислительная машина» не слышал, слова «компьютер» тогда не было. Называлось это ЭВМ. Я и слов таких не знал, и понять не мог, что это такое. И как это – «машинный перевод»?! Ну, он говорит, что тоже не по-

нимает, но вот, значит, у Наташеньки есть какие-то две подружки-аспирантки – давай я тебя к ним отведу. И отвел! Мне это безумно понравилось. И я в это ввязался.

В результате этой встречи через полтора года мы запустили первый в Союзе работающий алгоритм французско-русского перевода и получили с Олей Кулагиной, с которой мы это вместе делали, первую премию на конкурсе студенческих работ. По Московской области или по РСФСР, я уже не помню.

Незадолго до этого я уже начал интересоваться древними языками. Я не помню в точности, что было чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже, это не важно. Ну просто я всегда же всем интересуюсь. Появился молодой – третья фигура в моей жизни – Кома Ива́нов, Вячеслав Всеволодович. Он только что кончил аспирантуру, защитил диссертацию и начал вести спецкурсы и семинары – больших лекций ему не доверяли. Ну я, конечно, тут же бросился. Я во все совал нос.

Мне безумно понравилось, я к нему прилепился. И с ним очень серьезно изучал тохарский язык. И даже начал писать про него диссертацию. Но это была совершенно другая лингвистика, это то, что называется сравнительная грамматика. Тоже про язык, но совсем другая наука<sup>50</sup>.

В 1956 году Мельчук заканчивает университет. «Я учился на год больше, чем должен был, – вспоминает он, – потому что мое испанское отделение неожиданно закрыли. Я вынужден был получать диплом по французскому языку, то

есть мне пришлось в один год выполнить программу четырех лет французского отделения»<sup>51</sup>.

– Ну а когда я кончал университет, – рассказывает он, – произошел скандал. Я хотел поступить в аспирантуру. Кома Ив́анов руководитель, с тохарским языком. Но тут произошла пастернаковская история, Кому выгнали из университета. Я написал протест министру высшего образования, меня выгнали из университета. В аспирантуру я тем самым, не поступил. Кома лишился работы, о тохарском не могло быть и речи. Ну, я там завершил кое-что, у меня книжка даже есть – переводной сборник с моим предисловием про тохарские языки. Но это было в конце 1950-х годов. То есть теперь это все устарело супербезнадежно.

В этот самый момент – уже после публикации нашего первого алгоритма – Ляпунов, конечно, захотел, чтобы я продолжил работу в широком масштабе. Взять меня, каких-то еще людей... Ему категорически отказали в допуске. Он не мог меня взять в свой институт. Тогда он – все-таки имел большой вес! – добился того, чтобы ставку, которая была в его распоряжении, внутри академии передали в Институт языкознания. При условии, что на эту ставку берут меня. И чтобы я, числясь в другом учреждении, продолжал работать.

Но Борковский, тогдашний директор Института языкознания, куда меня Ляпунов привел, ему ясно сказал, что он не может взять еще одного еврея, у него перебрана норма, и очень сильно. Я слышал это, сидя за дверью: разговор был

на повышенных тонах. Ляпунов пересилил товарища Борковского. Сказал: «Ну это вы бросьте, эти штучки. Я дойду до...» Ляпунов был партийный и с военными чинами, в общем, накоротке. Меня взяли.

И пошло-поехало. Я стал лингвистом – о чем не жалею.

Я еще когда в университете учился, ходил на лекции на мехмате и сдавал экзамены по нескольким дисциплинам: логика, алгебра. В первый год я, конечно, одолеть много не смог, но то, что сумел, я все-таки одолел. В университете – 1954, 1955, 1956 год. А как только начал заниматься машинным переводом, стало ясно, что, например, нужны элементарные знания матлогики. На самом деле нужно совсем немного, но, чтобы это немного твердо в голове сидело, надо выучить вокруг этого гораздо больше. Потом многое забывается, но цимес остается.

А уже когда работали в Институте языкознания, были такие универсальные семинары всемосковские, где делались доклады для тупых, – по физике, но для тупых, для неспециалистов; по математике, Гельфанда. Я сам выступал там и ходил на те, которые, как мне казалось, могу понять. Кое-что понимал иногда. Очень славные там люди были.

Я с тех пор, с 1956 года, когда поступил на работу в Институт языкознания, стал признанным специалистом по машинному переводу. Кстати, думаю, что сейчас я самый старший живущий человек, начавший машинный перевод. Два или три было человека, которые занялись этим раньше ме-



ня, но они умерли, они были старше. А лет двадцать назад в Америке праздновали – был такой съезд пионеров, собрали всех живых основателей этого направления, машинной обработки языков. Я был третьим с начала. А теперь, я думаю, первый. Потому что они умерли. А я живу все еще.

А.Е. Кибрик пишет о Мельчуке в предисловии к его книге «Курс общей морфологии»: «Он был одним из тех, кто первоочередной задачей прикладных исследований считал кардинальную перестройку всего стиля лингвистического исследования и сформулировал новую научную парадигму, лозунгами которой были – точность, эксплицитность и формализованность. В конце 1950-х годов И.А. Мельчук становится ведущим специалистом в области машинного перевода. В 1962 году защищает кандидатскую диссертацию. Во время защиты предлагается присудить диссертанту степень доктора филологических наук, но нашлись ученые мужи, которым эта идея не понравилась, и отложили защиту докторской на будущее. За выступления против политических репрессий ученых, в частности за поддержку Сахарова, его в 1976 году увольняют с работы. В 1977 году он эмигрирует. В Университете Монреаля (Канада) ему дают должность профессора, где он работал до 2008 года. Опубликовал сотни научных статей и монографий».

«Вера в прогресс науки была основным кредо Мельчука, – писал к пятидесятилетию Мельчука Жолковский. – Философию он считал ерундой, но делал это, конечно, с опреде-

ленных философских позиций, исповедуя крайний и вполне оптимистический рационализм. (Недаром про него было однажды сказано, что он, хотя и анти-, но настоящий ленинец.) Философия, религия, всякие там гуманитарные печки-лавочки – безобидная, а чаще вредная болтовня, ведущая в конечном счете к тоталитаризму. Поэтики никакой нет и быть не может – ну разве что Алику (т. е. мне), раз он такой умный, а главное, “свой”, можно разрешить на досуге это странное времяпровождение, чтобы ему было хорошо и он лучше занимался делом, то есть лингвистикой.

Но и лингвистика хороша не всякая, так, например, какая может быть польза от занятий (талантливому, милого, но странного) Арона Долгопольского ностратикой<sup>52</sup> – гипотезой о родстве языков мира? <...>

Наверно, именно в противоречии между смехотворно узкими рационалистическими рецептами Мельчука и его страстной, разнообразно одаренной натурой и заключался основной секрет его обаяния. Конечной целью и оправданием “правильных” научных занятий объявлялось создание такого общества, в котором все решения принимают машины, и, следовательно, безопасность и счастье его, Мельчука, детей не будут под угрозой. Гарантировано же это будет тем, что машины создаст он сам. (Возражение, что технический прогресс, наоборот, ведет к конструированию *foolproof machines*, доступных любому идиоту, террористу и т. д., он с раздражением отметал.) Отсюда недалеко до другой его из-

любленной идеи: “Человек – это разум. Все остальное в нем от животного, все эти чувства, желания, всякое там подсознательное, искусство и проч. Человечество давно уже было бы счастливо, если бы все руководствовались разумом – как я”.

Самое смешное, что в действительности он руководствовался тысячью желаний и потребностей, диктуемых всем его существом. В результате он вечно куда-то спешил, опаздывал, писал рефераты в вагоне метро, разрывался на части между разными соавторами, больными родственниками, детьми, изданиями, походами, городами – в буквальном смысле слова жил под огромным напряжением, так что у него, как у какого-нибудь прибора, от перегрузок все время выходила из строя то одна, то другая деталь; ломалась рука или нога, пропадал сон, начинали мучить фурункулы, не поворачивалась голова, разрушались зубы и т. д.

<...> Нестерпимый блеск его научных и человеческих достоинств смягчался как очевидной наивностью его философских установок, так и теми поломками, которые то и дело выводили из строя эту совершенную машину. Чтобы на солнце можно было смотреть, на нем должны быть пятна»<sup>53</sup>.

# **Падучева**

## **«За ней открывался какой-то новый мир ненашей лингвистики»**

*Елена Викторовна Падучева (26 сентября 1935, Москва —16 июля 2019, Москва) – лингвист, доктор филологических наук, профессор. Один из крупнейших специалистов по русской и общей семантике. Иностраннный член Американской академии искусств и наук, член Европейской академии, Европейского лингвистического общества, Грамматической комиссии Международного комитета славистов.*

«Елена Падучева была яркой фигурой современной лингвистики, работы которой открывали новые пути. Ее отличало научное бесстрашие, тонкая интуиция и готовность воспринимать самые неожиданные идеи. Наряду с личным обаянием и харизмой первопроходца эти качества сделали Елену Падучеву одним из лидеров российского лингвистического сообщества», – написано в редакционном некрологе на *Colta.ru* <sup>54</sup>.

– Моя мама, Александра Леонидовна Падучева, родилась в 1908-м, – рассказывала Елена Викторовна. – Ее родители умерли, когда ей было одиннадцать лет. У маминой мамы, Мария Федоровна ее звали, был костный туберкулез, она хо-

дила на костылях. А отец ее был полковник царской армии, Леонид Федорович Падучев. И когда началась революция, в каком-то, наверное, 1918/1919 году, он был переведен в интендантские войска. Они оба умерли от тифа. Маму вырастили соседи, Эмиль Карлович Нордштрем и Татьяна Григорьевна Нордштрем-Рашковская.

Бабушка моя была еврейкой, ее звали Блюма Лазаревна Миттельштейн, потом она писалась Елена Львовна. В молодости она участвовала в каких-то революционных собраниях в красильне тканей в Ярославле. Кто-то донес, что у них висел на стене портрет Государя вверх ногами, ее сослали в Вологду. В ссылке она познакомилась с Евгением Евтихевичем Лунёвым, моим дедом, вышла за него замуж, и в 1909 году родился мой отец Виктор Евгеньевич Лунёв. Ее семья прокляла ее, что она вышла замуж за русского.

Мой отец учился в школе на улице Фрунзе, теперь Знаменке. А мама жила у приемных родителей на Арбатской площади и училась в той же школе, на класс старше. Они поженились в 1926 году.

Почему вышло, что у меня фамилия по маме? Мама кончила биологический факультет университета и стала работать в лаборатории Завадовского<sup>10</sup>, которая находилась в то время в зоопарке. Так что я отвечала на вопрос, где рабо-

---

<sup>10</sup> Лаборатории экспериментальной биологии при университете им. Свердлова в Москве, которую возглавлял биолог, академик ВАСХНИЛ Борис Михайлович Завадовский (1895–1951).

тает мама, – «мама работает в зоопарке». Отец заканчивает Плехановский институт, и его распределяют в Орджоникидзе (Владикавказ), а мама с ним туда не поехала. Он там встретил другую жену, а я родилась, когда родители уже были в разводе. Это определило всю мою жизнь, потому что, когда в 1936 году отца арестовали за троцкизм<sup>11</sup>, у меня официально не было репрессированных родственников.

В лаборатории Завадовского придумали сыворотку жерёбой кобылы – СЖК. Если овце впрыснуть эту сыворотку, она вместо одного ягненка рождает пятерых. Родить она их всех не может, но дело в том, что шкурки шли на каракульчу. Весь этот метод разработала моя мама, а Завадовский за это получил какую-то национальную премию – то ли государственную, то ли еще какую. А маме дал кандидатскую степень без защиты. В эвакуации в Алма-Ате эта лаборатория уже обернулась Институтом пушнины.

В 1951 году Падучева, ученица 9-го класса, отправилась на I Олимпиаду по языку и литературе, которую проводил филфак МГУ. Там она впервые увидела А.А. Зализняка. Вернее, слышала.

– 66-я аудитория, по-моему, – рассказывала она. – Сидят все, никто никого не видит, и раздаётся голос. Там одно из заданий – написать свою биографию на иностранном языке.

---

<sup>11</sup> В 1936 г. В.Е. Лунёв был арестован по обвинению в связях с троцкистами, осужден на десять лет и отправлен по этапу в Норильлаг, металлургический комбинат НКВД в Норильске, где работал диспетчером.

И кто-то из зала спрашивает: «А можно на двух?» Ему отвечают: «Можно!» Через некоторое время он спрашивает: «А можно ли на трех?» Я так думаю, что это было мое первое знакомство с Андреем Анатольевичем.

На этой олимпиаде она заняла 3-е место, а Зализняк – 1-е. Зато уже на следующей, в 10-м классе, они поделили 1-е место.

– Я поступила в университет по золотой медали<sup>12</sup>, – рассказывала Елена Викторовна, – с каким-то собеседованием. Это был 1952 год. Собственно, я попала в университет из-за того, что мама записала меня на свое имя. Хотя я и поступала по золотой медали, но какую-то щадящую анкету все-таки заполняла и писала «об отце сведений не имею». Все это было шито белыми нитками, потому что я жила у бабушки, матери отца. Я поступала, когда он второй раз сидел.

Как водится, студентов почти сразу отправили на сельскохозяйственные работы в колхоз.

– Колхоз был замечательный, – вспоминала она, – он определил в очень существенной степени мою биографию. Можно сказать, и нашу.

В этом колхозе Падучева и Зализняк познакомились с Мельчуком и несколькими математиками, с которыми потом и дружили, и сотрудничали.

– Основной мой круг общения был не лингвисты, а ма-

---

<sup>12</sup> Золотая медаль освобождала от необходимости сдавать экзамены в вуз.

тематики, – подтверждала она. – Ну, Мельчук, конечно, а в остальном, основные друзья были математики.

«Еще на 2-м курсе университета, – пишет Р.И. Розина, – Лену Падучеву заметила О.С. Ахманова<sup>56</sup>, ставшая после смерти А.И. Смирницкого<sup>57</sup> в 1954 году заведующей кафедрой английского языка. Ольга Сергеевна Ахманова была крайне противоречивым и неоднозначным человеком, в разные годы проявлявшим себя по-разному и поворачивавшимся к разным людям разными своими сторонами, но в судьбе Е.В. Падучевой она сыграла, безусловно, положительную роль, и Елена Викторовна всегда говорила о ней хорошо»<sup>58</sup>.

На том же 2-м курсе Вяч. Вс. Ива́нов читал спецкурс, на который стали ходить и Падучева, и Зализняк.

– Я воспринимала этот курс как ужас, – рассказывает Елена Викторовна. – Это была славистика, сравнительное славяноведение, причем со структуралистских позиций. Ну, Андрей что-то знал, и Андрею было понятно. Мне было непонятно ничего, совершенно! Так что я ходила только из чистого почитания и со страшными муками. Но Иванов был настоящим моим учителем, хотя и старше только на шесть лет.

В 1957 году Падучева кончила университет.

– На распределении у меня была заявка от лаборатории электро моделирования, – вспоминала она. – Была такая лаборатория, под руководством Гутенмахера<sup>59</sup>, которая потом



влилась в ВИНТИ. И еще была заявка от Ахмановой, она устроила ее от «Издательства словарей». Ахманова меня чуть ли не со 2-го курса как-то опекала, она и тему дипломной работы мне придумала. Так вот, прихожу я на распределение, там Аза Шумилина<sup>60</sup> сидит как представительница лаборатории электро моделирования, и мне говорит такой Волков – он был замдекана, страшный, злоеший человек с одной ногой, на костыле, весь в оспинах: «Ну вот, такая-то и такая-то, обзавелась заявками, а мы эти заявки не удовлетворим, мы ее направляем в железнодорожную школу Хабаровского края!»

«Бывший тогда заместителем декана филологического факультета А.Г. Волков даром предвидения не обладал и будущее талантливой выпускницы его не беспокоило», – пишет Розина.

– И тогда Иванов взял под ручку Ахманову, – продолжает Падучева, – и пошел в Министерство народного образования, по-моему. Тогда еще не было дела Пастернака, а Иванов тогда уже был заместителем главного редактора «Вопросов языкознания» и влияние имел. Вообще у него была такая фигура, что ясно было, что он имеет влияние. И они добились того, что отменили мое распределение в железнодорожную школу и удовлетворили заявку лаборатории электро моделирования.

Иванов потом выяснил и сказал мне, в чем дело. Ахманова ходила к декану Р.М. Самарину, и тот ей рассказал по

дружбе: «Ну как же! Вот пришло письмо, что такая-то Падучева скрывает своего отца, еврея и репрессированного!» Прямо с такой формулировкой.

Падучева была очень ярким человеком.

– Она была дамой, я бы сказала, – рассказывает Лена Гинзбург. – Нет, не в том смысле дама, которая в шелках, но к ней был огромный пиетет как к ученому, как к очень яркой личности, с ее всегда потрясающей работой.

– Она всегда смеялась звонко, мы слышали метров за полтора, что где-то хохочет Падучева, – вспоминает Н.В. Перцов. – В 1950-е годы Мельчук делал ей предложение. Но оно было отвергнуто. И Мельчук несколько раз, я слышал, ей говорил: «А замуж-то не пошла!»

Замуж Падучева пошла за Зализняка, когда он вернулся из Парижа и окончил университет. Поженились они 7 ноября 1958 года.

– На свадьбе, – рассказывала она, – были математики и принесли пластинку с песней:

А на Верхней Масловке, а на Верхней Масловке  
Ленка Падучева жила.

Разными походами, машиннопереводами,  
Эх, Андрюшу завлекла!

Я тогда поссорилась со своей мамой на год, потому что я ушла жить к Андрею. Мама была недовольна. Притом что ей совсем некуда было меня поселить у себя. Ну, в общем, с

мамой помирилась, только когда родилась Анютка, то есть в 1959 году. Она так сильно обиделась. Мама у меня суровая была.

Падучева прыгала с парашютом, пела под гитару, пешком и на лыжах ходила в ближние и дальние походы.

– Она отлично пела Окуджаву, – говорит Жолковский. – Я всегда просил ее спеть такую нестандартную песню: «А что я сказал медсестре Марии».

– Ленка всегда пела, – вспоминает одна из ее друзей-математиков, Никита Введенская. – Я жила в пятиэтажке, а там абсолютно прослушиваемые стены. И вот сосед подо мной как-то сказал: «Ты знаешь, я даже хотел открыть окно настежь, чтобы послушать, как она поет».

У Падучевой было удивительное чутье на новое, свежее, многообещающее в лингвистике.

– Она же, кроме всего прочего, была исключительно эрудирована, – рассказывает Александр Барулин, – и у нее всегда были очень интересные ссылки. Я, например, по ее ссылкам всегда ходил читать – это очень большое достоинство. То есть она всегда читала безумно интересные вещи.

– Вообще, лингвистический мир, – говорит Максим Кронгауз, – даже такой демократичный, как структуралистский, был довольно иерархичен в слегка сакральном ключе. Были небожители: Зализняк, Мельчук, Апресян, – а где-то рядом и чуть в стороне Падучева, и за ней открывался какой-то новый мир ненашей лингвистики, проводником в который

Елена Викторовна и была. Она его показывала, критиковала, улучшала и доносила.

– В 1969 году, когда учился на 5-м курсе, – вспоминает Григорий Ефимович Крейдлин, – Падучева согласилась оппонировать мой диплом. Тема диплома была «Метод перифраз в использовании специального подъязыка», а она как раз занималась перифразами. А когда мне не дали возможность поступить в аспирантуру, я обратился к ней, чтобы она меня взяла на работу к себе в отдел семиотики в ВИНТИ. Там было только место младшего научно-технического сотрудника. Как говорил Владимир Андреевич Успенский, руководивший группой, где работала Падучева, меня взяли как девочку на побегушках. Но Вика Раскин<sup>61</sup> сказал замечательную фразу: «Если Падучева позовет мыть полы, надо идти и мыть полы!»

Я ей очень многим обязан. Она меня научила писать, научила, что такое хорошо, а что такое плохо в лингвистике.

– Что в ее работах всегда потрясало, – рассказывает Бабулин, – так это абсолютная логическая выстроенность всего, что она говорила. Единственное, что мне у нее казалось не очень удачным, – она обычно суживала материал для того, чтобы внутри этого материала все логически выстроить, а при расширении материала многие вещи переставали работать. И это проскальзывало не в одной ее работе – с точки зрения логики абсолютно безупречной и очень красивой.

– Западные ученые, – замечает Мельчук, – особенно

американцы, любят только чистую работу: очень аккуратно обоснованное, доказанное и так далее. Европейцы, в принципе, уже гораздо меньше такие. А мы вот: я, Жолковский, Апресян, Падучева (Зализняк – нет, Зализняк очень классический) – мы такие сорванцы. Если видно, что есть хороший результат, черт с ним, что он не обоснован, – потом обоснуём. Падучева принадлежала к этой могучей шеренге.

– Когда про нее говорят, – рассказывает Кронгауз, – все вспоминают, а) как она пела, б) как она смеялась. Падучева была воплощение несоветского: яркая, уверенная, талантливая, рыжая, в конце концов. А в ее докладах и статьях – ссылки на тогда незнакомых, но непременно великих американских и европейских ученых. Потом, по мере узнавания и приближения к ней, в этом образе появились трещины. На конференции в Грузии, куда мне посчастливилось попасть, будучи аспирантом, я и мои ровесники, Алеша Шмелев и Миша Селезнев<sup>62</sup>, интенсивно задавали въедливые вопросы. Что значит интенсивно? Ну, практически после каждого доклада по одному вопросу, Шмелев, правда, любил задать два-три. Это был, конечно, в первую очередь способ заявить о себе: вот мы здесь, вот мы какие молодые и умные, заметьте нас, – но вопросы при этом были всегда по существу, потому что, чтобы показать свой ум, нужно было очень внимательно слушать доклад. И мы наивно полагали, что это всем нравится. Я вдруг заметил, как Елена Викторовна напрягается от этих вопросов и воспринимает ситуацию совер-

шенно иначе, что-то вроде «Акела промахнулся». Это меня так поразило, что я на время вообще перестал задавать вопросы. Чем ближе мы знакомились, тем больше рушился образ уверенного лингвиста, да и вообще уверенного человека.

За годы общения выяснилось, что всё не так просто, что внешний образ яркой блестящей лингвистки и внутреннее, настоящее довольно сильно различаются, что тот же смех – это, скорее, способ защиты или заполнение неловких пауз. Мне стало казаться, что внутри Елены Викторовны какая-то драма, неуверенность, может быть, уязвимость. Но это всё, конечно, мои измышления, то есть очень субъективная реконструкция внутреннего мира другого человека.

До самых постперестроечных времен Падучева старалась держаться как можно дальше от политики, даже в то время, когда многие ее друзья и коллеги подписывали разнообразные письма протеста, а некоторые и вовсе подвергались аресту.

– Как-то мы с ней, – рассказывает Жолковский, – это было в давние 1960-е или 1970-е годы, – были в гостях у моего друга лингвиста Сандро Кодзасова<sup>63</sup>, который всегда был ближе к диссидентам, чем я. И вот вдруг возникает разговор на какую-то политическую тему, высказывается какая-то диссидентская истина, на что Падучева говорит: «Нет-нет, это не так, откуда вы взяли?» – «Ну как же, об этом *Newsweek* пишет!» – говорит Кодзасов и берет со стола *Newsweek*: «Вот, Лена, могу тебе дать почитать дня на три». Она: «Нет-нет,

пожалуйста, не надо, не хочу знать, что пишет *Newsweek*, чтобы, если меня спросят, знаю ли я, что пишет *Newsweek*, я честно сказала бы, что не знаю».

– У меня какая-то такая презумпция, что человеку свойственно говорить правду, – сказала как-то Падучева.

– Она всегда шарахалась от политики, – говорит и Крейдлин. – С Есениным-Вольпиным<sup>64</sup> в ВИНТИ она почти не разговаривала. А когда однажды я ее звал на концерт Галича в один дом, она не пошла, испугалась. Падучева была в этом отношении отнюдь не смелым человеком. Она была человеком науки.

Красивая, молодая женщина, веселая, чрезвычайно, до невозможности энергичная, очень трудолюбивая, массу всего успевала: ходить на какие-то концерты, в гости – это все было при ней. Количество работ, которое она делала... Очень много написала. Причем писала она гораздо лучше, чем говорила, делала доклады. Потому что она выверяла все, что написано.

«За свою жизнь Е.В. Падучева опубликовала десять книг, – пишет Розина, – первую, “О точных методах исследования языка” (в соавторстве с О.С. Ахмановой, И.А. Мельчуком, Р.М. Фрумкиной) – в 1961 году; последнюю, “Эгоцентрические единицы языка”, – в 2018-м. Ее первая статья на русском языке, рецензия на книгу Н. Хомского<sup>65</sup> “Синтаксические структуры”, была напечатана в журнале “Вопросы языкознания” в 1959 году. С тех пор она опубликовала около

двухсот статей на русском языке и ряд статей, переводных и оригинальных, на иностранных – английском, французском, немецком и польском. Каждый год она читала по несколько докладов. <...> правка в доклады вносилась до самого последнего момента; волновалась она перед каждым докладом ужасно».

– Мельчук очень высокого мнения о последних работах Падучевой, – говорит Жолковский.

– Апресян, Зализняк, Падучева, Кибрик – это столпы, – называет Мельчук главных оставшихся в России после его отъезда лингвистов. – Эта четверка, бесспорно, просто определила XXI век.

«Елена Викторовна Падучева была неповторима, – пишет Яков Тестелец в некрологе, – и в поколении первых советских “формальных” лингвистов она занимает особое место. Ей удалось то, что не удастся почти никому: работать вне больших исследовательских программ, школ и популярных теорий и при этом – создать классические фундаментальные работы в нескольких областях, работы, которые в итоге оказались необходимыми лингвистам всех направлений и в значительной мере сформировали стиль российских исследований грамматики и семантики. <...> Ее потрясающая интуиция неизменно помогала ей избегать тупиков и находить верные пути <...>. Ко всему интересному в языке и в работах коллег она относилась с детски простодушным удивлением и радостью, что всегда есть признак выдающегося ума»<sup>66</sup>.



# Розенцвейг

## «Он был одним из главных создателей условий»

*Виктор Юльевич (Мордхе Иоэльевич) Розенцвейг (28 ноября 1911, Хотин, Бессарабская губерния – 21 октября 1998, Бостон) – лингвист, доктор филологических наук. Специалист по теории перевода; организатор науки.*

«ВэЮ был Великим Менеджером Всех Времен и Народов, – пишет о Розенцвейге Мельчук, – хотя само слово “менеджер” в те дни нам известно не было. Именно благодаря ему в России выросло и вышло в большую лингвистику целое поколение ученых. Не было бы ВэЮ – не было бы и нас»<sup>67</sup>.

«Он сделал для нас и из нас, наверное, лучшее, что можно было сделать», – вторит ему Жолковский<sup>68</sup>.

«Давайте выпьем все до дна за уроженца Хотина!» – так завершил свой тост Вяч. Вс. Иванов в сентябре 1960 года на Межвузовской конференции по вопросам прикладной лингвистики в Черновцах.

Уроженцем Хотина был Виктор Юльевич Розенцвейг. Его родители: мать Ита Гершковна Розенцвейг (в девичестве Якер) и отец Иоэль (Йоиль, Юлий) Хаскелевич Розенцвейг

– оба родились в том же Хотине. Отец какое-то время был управляющим лесхозом в Бессарабии. Семья была многодетной, но самую значительную роль в жизни Виктора Юльевича сыграла его сестра, советская разведчица Эстер Иоэльевна Розенцвейг, она же – Елизавета Юльевна Зарубина.

Впрочем, в Хотине Розенцвейг жил недолго: вскоре после его рождения семья переехала в Черновцы, которые тогда принадлежали Румынии, где он и окончил школу. С 1929 года Розенцвейг учится сначала в Вене, затем в Париже, а в 1937 году переезжает жить в СССР.

Во время Второй мировой войны он – переводчик в действующей армии на Юго-Западном фронте. Демобилизовавшись, работает во Всесоюзном обществе культурных связей и преподает французский на филфаке МГУ. С 1949 года заведует кафедрой перевода в Инязе (тогда 1-й МГПИИЯ).

«Внешне ВэЮ представлялся человеком зарубежного разлива, – вспоминает о нем Мельчук. – Так, он ходил в берете, что вовсе не было принято в СССР. Говорил по-русски прекрасно, но с сильным еврейско-французским акцентом. Был изысканно вежлив и всегда – даже в больничной пижаме – элегантен»<sup>69</sup>.

«Многие ученые тех лет считают его главным организатором машинного перевода в Советском Союзе. Он умел объединять людей и знал, что нужно делать, чтобы наука могла развиваться в СССР поверх бюрократических и идеологических барьеров», – пишет О.В. Митренина<sup>70</sup>.

«Однажды я пришел к ВэЮ по делам, – продолжает Мельчук, – он усадил меня за стол и попросил подождать несколько минут; я стал сгребать в сторону бумаги, чтобы расчистить себе место за столом, – и вдруг увидел анкету, заполненную рукой самого ВэЮ. “1929–1937 годы: оперуполномоченный НКВД во Франции”. Я отодвинул эту чертову бумажку далеко в сторону, понимая, что я не должен был ее видеть; но я уже увидел! Я, как и все, знал, что ВэЮ провел юность во Франции, учился в Сорбонне и в 1937-м (!!!) взял и приехал в СССР – не будучи советским гражданином. Кажется, оставив во Франции любимую женщину, а может быть, даже и ребенка. И уцелел, избежав сталинской мясорубки! Все это уже само по себе было загадочно. И вот открывалась совсем новая страница... Спрашивать ВэЮ не имело смысла; он отвечал “так сложилось”, “такое было время”, “повезло”. На это накладывалось много других непонятных фактов. Так, беспартийному и вполне чуждому советской власти еврею-иностранцу удавались вещи далеко не тривиальные по тем временам: он был скромным доцентом кафедры в Инязе, он создал Лабораторию машинного перевода, он издавал знаменитый “Бюллетень”<sup>13</sup>, он давал работу людям, которых советская система усиленно выталкивала. Позже я узнал, что в 1941 году его приятель Лев Копелев, офицер Красной Армии, был арестован и судим военным су-

---

<sup>13</sup> «Бюллетень Объединения по проблемам машинного перевода» (БОМП) выходил в МГПИИЯ (Инязе) с 1957 г.

дом по обвинению в сотрудничестве с гитлеровцами, – верный расстрел. И ВэЮ, который работал вместе с Копелевым в ВОКСе<sup>14</sup>, пишет заявление в суд, где ручается за Копелева и вступает в полемику с военными судьями! (Я узнал об этом не от самого ВэЮ, а из воспоминаний Копелева.) “Да, – подтвердил ВэЮ, – а что же было делать? Конечно, страшно было...” И его выступление спасло Копелева!

В течение тридцати лет раскрывалась передо мной – медленно, но неуклонно – истинная картина. В ее основе – старшая сестра ВэЮ, Эстер Иоэльевна Розенцвейг, известная миру как Елизавета Зарубина (по мужу), подполковник НКВД – КГБ, знаменитая советская шпионка; она и ее муж Василий Зарубин не знали ни одного провала за тридцать с лишним лет их плодотворной деятельности. (Кстати, она и ВэЮ были кузенами Анны Паукер, лидера румынской компартии и министра иностранных дел Румынии в начале 1950-х годов.) Это она обеспечивала кражу и вывоз из США документов Манхэттенского проекта (атомной бомбы: разъяснение для молодых); это она отправила в постель к Эйнштейну увядающую красотку Маргариту Конёнкову (чтобы приблизиться, если удастся, к атомным секретам, а главное, чтобы раз навсегда заткнуть Эйнштейну рот на тему пресле-

---

<sup>14</sup> «Всесоюзное Общество по Культурным Связям с Заграницей»: организация, густо напигованная агентами разведки и НКВД; она служила прикрытием таким чудовищам, как, например, главный костолом Сталина Кобулов, – он служил в советском посольстве в Берлине как представитель ВОКСа. – *Примеч. И.А. Мельчука.*

дования евреев в СССР, что полностью получилось!). Однако решающее обстоятельство – это то, что она вместе со своим верным супругом подготавливала успешное покушение на Троцкого в Мексике в 1940 году. Все организаторы и участники этого убийства получили пожизненные индульгенции и синекуры от главбандита СССР, чьи решения соблюдались и после его смерти. Так что ларчик открывался совсем просто: у ВэЮ была сверхнадежная “крыша” – сестра и ее муж Василий Зарубин, каковой, выйдя на пенсию, сделался мастером по производству копий средневековых лютней. <...>

Но Виктор Юльевич Розенцвейг сумел выскользнуть из гэбэшных тисков: его человечность и практический ум позволили ему “вернуться с поля” и посвятить свою жизнь заботе о молодой науке и, главное, о молодых ученых. Нам остается только благоговейно склониться перед стихийными силами мироздания, наделивших ВэЮ возвышенной душой, замечательным характером, быстрым разумом, любовью к истине и к добру. <...> ВэЮ дает нам замечательный пример внутренней человеческой трагедии, типичной для XX века; в то же время его жизнь демонстрирует принципиальную возможность счастливого конца».

«Виктор Юльевич Розенцвейг, – пишет В.А. Успенский, – сделал для российской лингвистики больше, чем многие лингвисты, хотя сам он и не был крупным лингвистом. Да его и не надо оценивать по этой шкале. С.П. Дягилев не был

ни танцовщиком, ни хореографом, ни декоратором; однако его вклад в становление балета уникален. <...> В.Ю. Розенцвейг стоит в том же ряду вдохновителей и организаторов творческих свершений. Он был одним из главных создателей условий, той атмосферы, без которой многим достижениям лингвистической науки было бы трудно, а то и вовсе не суждено осуществиться в нашей стране».

# **Успенский**

## **«Никто другой не умел так наводить мосты между математикой и лингвистикой»**

*Владимир Андреевич Успенский (27 ноября 1930, Москва – 27 июня 2018, Москва) – математик, популяризатор науки, мемуарист. Автор работ по математической логике, семиотике и лингвистике. Инициатор и активный участник реформы лингвистического образования в России. Доктор физико-математических наук, заслуженный профессор МГУ.*

«В “Википедии” про него написано: математик, лингвист, публицист и популяризатор науки, – пишет в некрологе Александр Пиперски. – Но если попробовать описать его деятельность одним словом, я бы назвал его понтификом – строителем мостов: никто другой не умел так наводить мосты между математикой и лингвистикой, между гуманитарными и точными науками, между математической логикой и хаосом повседневности»<sup>7273</sup>.

«Отец математика, Андрей Васильевич Успенский, – вспоминают его ученики и коллеги, – был драматургом, временами его пьесы пользовались значительным успехом. Мать Владимира Андреевича, Густава Исааковна (урожд-

денная Меклер), была переводчицей пьес с французского (также она адаптировала некоторые произведения для театра). Успенский пишет: “Все доходы нашей семьи были связаны с театром: и автору пьесы, и переводчику положен некий процент от продажи билетов”»<sup>74</sup>.

– Детство мое было благополучным, – рассказывал сам Владимир Андреевич. – Родился я в ноябре 1930 года в Москве, в Тихвинском переулке. Ну, родился я, конечно, в родильном доме Клары Цеткин. Привезли меня домой, чуть при этом не задушив, потому что отец мой очень волновался. Он никогда не занимался медициной, но закончил медицинский институт, поэтому он больше всего боялся, что я там простужусь по дороге из родильного дома или еще что-нибудь. Поэтому он закутал меня так, что, когда меня привезли, я не дышал.

Жил я в совершенно – я тогда этого не понимал – фантастических по тем временам квартирных условиях. У нас была все-таки отдельная квартира, хотя очень неудобные комнаты, надо было проходить через одну комнату, чтобы попасть в другую. А все вокруг жили в коммуналках, и в подвалах, и вообще. Там я учился в школе неподалеку – надо было только перейти Тихвинский переулок. Замечательная школа, не помню ее номера.

Читать я научился очень рано. А еще раньше, чем читать, я научился писать. Но писать я научился не карандашом, – карандашом тоже, конечно, раньше, – я научился печатать на



пишущей машинке. Потому что у моего отца была пишущая машинка, которых теперь и не бывает. Я помню ее название: фирма *Smith Премьеръ*, – написано было с твердым знаком.

Школа была хорошая. Я считаю, что после родителей самая важная фигура – ну, у меня еще одна важная фигура была, но это фигура факультативная, а обязательная фигура – это первая учительница, с которой человек сталкивается. В младших классах она учительница за всё. Ее звали Лидия Федоровна, она была очень хорошая учительница, поэтому к школе я относился спокойно. Я был на ее похоронах, уже вернувшись из эвакуации. Значит, такая неприятность: меня дразнили жиртрестом, совершенно справедливо. И вид у меня был маменькиного сынка.

А еще у меня была одна фигура в детстве – няня. Она пекла пироги на свадьбе моей бабушки по отцу, она вырастила моего отца, вырастила меня, вырастила моего брата... Моего сына она уже не могла, она была старая, уже не вставала, сидела, она только могла сказать: «Светлана (это моя покойная жена), мальчик плачет!» Ну вот, и конечно, эта няня Маша, она тоже способствовала такому образу маменькиного сынка.

Я очень хорошо помню: 22 июня 1941 года мы сидим на большой террасе. Пришел почтальон и сказал: «Свет вечером надо занавешивать!» И кто-то из старших с ненавистью сказал: «Что, опять воздушная тревога?» – «Да нет, – он сказал, таким равнодушным голосом, – война».

Довольно быстро нас отец отправил в Новосибирск. Сам позже приехал. Потом началась менее интересная жизнь – в эвакуации в Новосибирске. Я ходил с судками в какую-то столовую. Менял компот на суп или наоборот – что-то такое началось там, более деловое<sup>75</sup>.

Успенский вспоминал, что увлекся математикой еще в школьные годы, в эвакуации. В Новосибирске он ходил в букинистический магазин и покупал книги по высшей математике, выбирая, по его словам, издания с самыми красивыми названиями.

Из эвакуации семья вернулась в ноябре 1943 года.  
– Вернулся, – рассказывает он дальше, – пошел в 167-ю школу в Дегтярном переулке. А война, эвакуация пошла на пользу, потому что я очень хорошо помню – я был потрясен, как в школе мне, описывая кого-то, сказали: «Ну, он худой». Я говорю: «Как худой?» – Мне сказали: «Ну, как ты, вот такой». Я этого не осознавал. И вот долго был худым, и в старших классах, и в университете, а потом как-то вот... У меня наследственность, правда, плохая, но это я говорю, как Король в «Обыкновенном чуде».

Школа произвела на меня большое впечатление. Меня там никто не побил, что было бы естественно. Наоборот, старшие мальчики подошли ко мне и пожали мне руку. Но одновременно кто-то из них взял стул и выкинул его в окно.

При том, что я школу любил, я ходить в нее не хотел. Вот это меня потрясло и до сих пор потрясает – психология, не

только моя. На мехмате спецкурс – то же самое, что факультативный курс, можно на него ходить, не ходить – твое дело. Ходишь для собственного удовольствия на курс, чтобы послушать интересные вещи. Но если по какой-то причине лекция отменяется, то я счастлив! Какого черта, если ты так счастлив, то не ходи тогда на него, никто тебя не заставляет! Вот это понять невозможно. Поэтому школу я любил пропускать, не ходить, говорить: «Мам, у меня горло болит!»

Тогда в Москве были афишные тумбы. На одной из таких тумб я увидел, что происходит в университете лекция по математике для желающих школьников. Я пошел на последнюю лекцию. Это был конец 7-го класса. В университете студенты и аспиранты вели школьные кружки для детей, и там выступали разные люди. Один из выступавших, Евгений Борисович Дынкин, мне больше всех понравился. Я к нему потом подошел. По-видимому, я ему тоже понравился, потому что он со мной поговорил, сказал: обязательно приходите! И осенью я пришел в его кружок 8-го класса. И там занимался довольно успешно.

В 1946 году восьмиклассник Успенский получил первую премию на IX московской математической олимпиаде, а через год (перепрыгнув, по совету Дынкина, через класс) – вторую премию на X московской математической олимпиаде.

– Потом, – продолжает рассказывать Успенский, – когда я уже был студентом, Дынкин предложил мне написать книгу по материалам этого кружка. И моя первая книга с Дын-

киным – Дынкин и Успенский, «Математические беседы» – вышла в 1952 году. Для студента все это вот вообще: книга, в солидном издательстве, Гостехиздат, достаточным тиражом... Такая была довольно известная книга.

В этих школьных кружках я увидел, что такое демократия. Там все называются по именам. Руководитель тоже. Но на «вы». Он к нам обращается на «вы». Я с ним познакомился, он был еще студент 5-го курса. Потом он стал аспирантом, а я, хотя я и школьник 8-го класса, говорю ему «Женя», и все говорят ему «Женя», но он всем говорит «вы». Сейчас он член Национальной академии наук Соединенных Штатов, профессор Корнельского университета, – но Женя.

Кончил я школу с золотой медалью, пришел поступать на механико-математический факультет. Тогда медалей было мало, принимали без экзаменов. Поступил и стал учиться на мехмате. И тут произошла великая вещь: меня заметил Колмогоров. Я был тогда на 3-м курсе. Колмогоров обратил на меня свое внимание и пригласил к себе на дачу.

Вообще удивительно, что он не выгнал меня из своих учеников, потому что все его ученики, кроме меня, прекрасно катались на лыжах, прекрасно плавали... Кроме того, я в музыке ничего не понимал. Колмогоров меня просвещал. Вот я как не понимал, так и сейчас не воспринимаю оперу, оперное пение, но Колмогоров мне впервые объяснил такую вещь, элементарную: что человеческий голос – это тоже музыкальный инструмент, особый. Я ему тогда задал вопрос,

на который он мне так и не смог ответить, и никто не смог ответить: голос, я понимаю, голос хороший. Но вот вы можете мне, Андрей Николаевич, объяснить: а слова зачем нужны? Слова зачем? – Не мог мне объяснить! И вот этим я резко выделялся, – не в положительную сторону, – но как-то он меня не прогонял.

И так вот я стал его учеником. Защитил у него кандидатскую диссертацию – на кафедре истории математики, к которой я не имел никакого отношения. Потому что математическая логика – это было что-то абсолютно экзотическое, и приписана она была к кафедре истории математики. Потому что заведующая кафедрой истории математики, профессор Софья Александровна Яновская, была специалист по истории математики, но любила математическую логику и даже читала какие-то курсы. Ее надо сравнивать с Дягилевым: Дягилев тоже сам не танцевал и декорации не рисовал, но для балета он сделал больше, чем любые постановщики и хореографы. Русский балет сделал он в некотором смысле. Так вот она сделала математическую логику на мехмате, а может быть, даже в масштабе Советского Союза, хотя не творческий человек в смысле математической логики. Но покровительствовала ей. Так что я был аспирантом по кафедре истории математики, – но руководитель Колмогоров. Защитил я кандидатскую диссертацию в 1955 году, еще во время пребывания в аспирантуре.

Дягилев явно был для Успенского не то чтобы образцом

для подражания, но определенно значимой ролевой моделью. Неслучайно этот образ возникает в его воспоминаниях и текстах неоднократно. Так, с Дягилевым он сравнивал и В.Ю. Розенцвейга. Кажется, и себя он видел таким Дягилевым если не в математике, то, по крайней мере, в лингвистике.

Незадолго до этого ставший кандидатом наук двадцатипятилетний В.А. Успенский выступает на Третьем всесоюзном математическом съезде. Именно по инициативе Владимира Андреевича, вспоминают его коллеги, съезд принял резолюцию о создании кафедры математической логики на мехмате МГУ.

Заведующим этой кафедрой (сегодня она – кафедра математической логики и теории алгоритмов) Владимир Андреевич был назначен только в 1993-м, но его роль во все предшествующие годы далеко выходила за границы заместителя заведующего (каковым он числился с момента создания кафедры). При этом Успенский в научно-организационной иерархии ощущал себя именно профессором МГУ, не стремился к академическим званиям, правительственным наградам и премиям (и никогда их не получал).

– В 1963 году я собрался защищать докторскую диссертацию, – рассказывает Успенский. – Тогда было такое короткое время, когда нельзя было в своем месте защищать. Я защищал ее в Новосибирске. Колмогоров согласился быть моим оппонентом и со мной поехал в Новосибирск. Это совер-

шенно фантастическая вещь, потому что – сколько там? – два дня и ночи мы с ним ехали и с его женой – он поехал с женой. Поскольку билет заказывал он, через Академию наук, а там иначе как международный вагон не понимают, то я тоже ехал в международном вагоне. Никогда до этого не ехал. И в этом вагоне ехали четыре человека: вот нас трое – и в противоположном конце какой-то американец, который хотел проехать весь Великий сибирский путь от Москвы до Владивостока, посмотреть, что это такое. Колмогорову тоже делать нечего, поэтому целые дни он со мной говорил – безумно интересно! – не помню о чем. Помню только одну очень глубокую вещь он про меня сказал. Абсолютно справедлившую. Он сказал: «Я вас превосхожу!» Я говорю: «Ну конечно, Андрей Николаевич, какой разговор!» – «Нет, совсем не в том, в чем вы думаете! Вы получаете удовольствие от езды в международном вагоне. Я тоже получаю удовольствие от езды в международном вагоне. Но я могу получить удовольствие и от езды на третьей полке – а вы не можете!» Он был прав.

«Успенский как рыба в воде чувствовал себя в советском бюрократическом мире, плавно превратившемся в российский, – пишет Александр Пиперски, – и благодаря этому всегда знал, какие тайные пружины нужно задействовать, чтобы добиться того, что он считал правильным, – а то, что он считал правильным, обычно оказывалось очень полезным. Именно благодаря этому его таланту в 1960 году было созда-

но отделение структурной и прикладной лингвистики на филологическом факультете Московского университета, в 1965 году была проведена Первая традиционная олимпиада по языковедению и математике».

«Научная деятельность В.А. Успенского неотделима от той, что называется у нас обычно научно-организационной, – пишут его коллеги, математики и лингвисты. – А это была уникальная в нашей стране работа по созданию современной научной школы в области лингвистики, ставшей при этом не локальным, а мировым явлением.

В.А. Успенский привлек потенциал своего учителя А.Н. Колмогорова, в ответ на обращение Успенского поставившего перед исследователями языка вопросы о возможности эффективного определения двух понятий: из области грамматики (падеж) и из области стиховедения (ямб). Первой лингвистической работой В.А. Успенского была статья “К определению падежа по А.Н. Колмогорову”. Как и другие его лингвистические работы 1950–1960 годов, это своего рода демонстрация для будущих лингвистов: “строгой” аксиоматической лингвистики еще нет, но если бы она была, то она была бы такой – попробуйте работать вот так. Продолжением этой интенции во многом стала важнейшая книга А.А. Зализняка “Русское именное словоизменение”, где обсуждается так называемая “процедура Колмогорова” для определения количества падежей в произвольном языке, которую, конечно, следует называть “процедурой Колмогорова – Успен-



ского”, а за пределами книги, сегодня, это “процедура Колмогорова – Успенского – Зализняка”»<sup>76</sup>.

– Мы говорили, что он математик, мы говорили, что он нематематик, мы говорили, что он философ, филолог, поэт, – сказал В.А. Плунгян на заседании кафедры математической логики мехмата МГУ, посвященном памяти В.А. Успенского, – а теперь я хочу сказать, что Владимир Андреевич – демиург. И может быть, это его самая главная ипостась. <...> Как известно, демиург – это существо сверхъестественное, которое создает мир и людей, которые в нем живут. Владимир Андреевич действительно создал мир и людей, которые в нем живут. Это мы, лингвисты<sup>77</sup>.

# **Места их обитания**

## **Семинар «Некоторые применения математических методов в языкознании» «Разрешено было не понимать докладчика и гордиться ЭТИМ»**

В сентябре 1956 года на филфаке МГУ заработал неожиданный для гуманитарного факультета семинар под названием «Некоторые применения математических методов в языкознании». Вели его Владимир Андреевич Успенский и Вячеслав Всеволодович Иванов. Третьим организатором семинара был Петр Саввич Кузнецов<sup>78</sup>.

– 19 сентября 1950 года, – рассказывал В.А. Успенский, – на дне рождения нашего общего знакомого и моего друга – было двадцать лет Михаилу Константиновичу Поливанову<sup>79</sup>, он был моим другом еще довоенных времен – я встретился с Комой Ивановым, который теперь академик Вячеслав Всеволодович Иванов. Мы вместе оттуда вышли, всю ночь гуляли по Москве, рассказывали друг другу, чем занимаемся. Он старше меня на год и на курс: он был студент 5-го

курса, а я 4-го. Вот как-то так погуляли и с тех пор поддерживали отношения. Потом я был на его исторической защите, весной 1954 года. Он защищал кандидатскую диссертацию, но Совет принял решение, что нужно ее защищать как докторскую. И дальше были драматические события. ВАК, чтоб не забыли о ее существовании, каждые два года меняет инструкции. Никакого преимущества одной инструкции перед другой нет, но – тасует специальности, Советы недействительными объявляются, нужно, чтоб снова ходили к ним на поклон. Чтоб чувствовали. А тогда было так: если считают, что за кандидатскую надо давать докторскую, то Совет голосует за кандидатскую и принимает отдельное решение, что на другом заседании Совета, с другими оппонентами, может быть, поставить это же как докторскую. Что и было сделано. Осенью потом была защита докторской, ему присудили доктора, и в течение лет двух это дело рассматривалось в ВАКе. Доктора ему не дали, а все время, пока окончательного решения не было принято, кандидата тоже не давали.

А в 1955 году весной мы с ним встретились в каком-то концерте и договорились учредить семинар – надо как-то математическую лингвистику вообще открыть. Тогда такое уже было время: Сталин умер, это существенный момент. Перестали сажать за генетику, почти перестали увольнять за кибернетику<sup>80</sup>.

– Они познакомились у моего брата, – говорит о знакомстве В.А. Успенского с Вяч. Вс. Ивановым Анна Поливанов-

ва. — Я понимаю, как мой брат познакомился с Комой. Главная нить знакомства в том, что Кома в свое время был соседом Пастернака. Нельзя сказать, что наша семья дружила с Борисом Леонидовичем. Мы — в смысле, родители — здоровались, Борис Леонидович мог бывать у нас, мы могли бывать у них, но не то что это были близкие друзья. Но его сын Женя был в близких друзьях. Он приходил без предупреждения, мог остаться ночевать, вообще был все время в доме. И поскольку Ивановы и Пастернаки — соседи по даче, то, естественно, Женя с Комой были близко знакомы, были на короткой ноге, отсюда и знакомство Миши с Комой. Откуда знакомство Успенского с Комой, я не знаю. Но может быть, что Успенский был знаком независимо от Миши, потому что он же тоже из литературных кругов. Все эти писательские связи были очень сильными, и Успенский мог за просто познакомиться через кого угодно.

К тому моменту, когда все они уже были в университете, у Миши Поливанова образовался, как это водится, свой круг близких. Их было трое школьных друзей: Миша, Володя Успенский, Женечка Левитин<sup>81</sup> — и в университетские годы примкнувший к ним Кома. Он, правда, был немножко вышемерен, держался немного отдельно, хотя он был лишь чуть старше. Такое было всегда, с детства! Про Кому столько всяких смешных историй. Про то, как они ехали на машине, и что-то происходило интересное, вроде похорон. Водитель задерживался, были пробки, менты не пропускали, и Кома

сказал: «Папа, неужели ты не можешь выйти и сказать, что едет Иванов?» Ему было лет двенадцать. Он был совершенно не таким, как Володя Успенский. Володя не считал, что он велик, он просто по характеру был таким, что, как газ, занимал все пространство. Володя говорил так, что никто не мог слышать никого другого, а Кома говорил так, что все должны были замолкнуть, потому что говорит Иванов. Он говорил тихим голосом.

Но если это вынести за скобки, то они были близкими друзьями. При этом, если брать эту четверку, то темы перекрестия естественных и гуманитарных наук для Миши, Володи и Комы были так же значимы, как и политические, а Женя был немножко в стороне. Он не очень сочувствовал социальным идеям, связанным с положением науки в те годы в России. Для всех трех это была не только общественная проблема – это была их личная проблема. Как отличаются те, у кого расстреляли отца, кто потерял отца на фронте или кто просто слышал про беды войны. Для Миши, Комы и Володи это была личная драма. Поэтому можно было, конечно, увлеченно говорить о Пастернаке, но рано или поздно разговоры все равно возвращались туда.

– Мы стали открывать этот семинар, – продолжает В.А. Успенский, – и тут оказалось, что назвать его «математическая лингвистика» все-таки нельзя, потому что математическая лингвистика была тогда «так называемая» только. Поэтому мы называли его «Некоторые применения математиче-

ских методов в языкознании». Тут докопаться было нельзя. Но нам тоже это было не по чину, потому что мы оба были маленькими, оба были ассистентами соответствующих факультетов: он филологического, я математического, – а так совершенно было не принято, поэтому нам нужна была крыша, прикрытие. Мы позвали очень достойного человека, который, мы знали, и математикой интересуется, он друг детства Колмогорова. Такой был профессор на филологическом факультете – Петр Саввич Кузнецов. Он был там самый замечательный человек, при этом он, встречая меня в коридоре, искренне говорил: «Я боюсь, меня уволят!» Он жил под этим страхом – и, может быть, небезосновательно. Тем не менее он согласился.

В основном, конечно, мы с Ивановым вели этот семинар, Петр Саввич там так сидел, делал разные замечания, очень интересные. Он был человек не от мира сего. Я помню, мы с ним как-то в автобусе оказались вместе, и он мне через весь автобус кричит: «А помните, мы с вами обсуждали некоторые лингвистические проблемы русского мата? Вот я понял, что можно...» Я ему говорю: «Потом мы с вами это обсудим!...»

«Семинаром руководили тогда Вяч. Вс. Иванов, П.С. Кузнецов и В.А. Успенский втроем, но душой семинара был, несомненно, Владимир Андреевич, – вспоминает Исаак Иосифович Ревзин<sup>82</sup>. – Он не только вел фактически семинар (во всяком случае, я помню лишь его ведущим дискус-

сию), не только заполнял пустые (без докладов) дни своими лекциями по математике, но, главное, он превращал каждое занятие в действо. Это достигалось его настойчивым формализмом и педантизмом не только в обсуждении, но и во всем, что касалось внешней стороны семинара: те же дни, те же часы (с очень строгим их соблюдением), та же аудитория и те же люди (в принципе). Даже места, как мне кажется, были постоянные, причем никто их не устанавливал, но это сложилось само собой.

Мы с В.Ю. Розенцвейгом всегда сидели справа во втором ряду, перед нами Аза Шумилина (и, кажется, Зоя Волоцкая<sup>83</sup>), где-то справа подальше, ряду в четвертом, сидел И.А. Мельчук, во всяком случае, оттуда доносились его остроты и замечания, которые мне тогда казались необходимым атрибутом всего действа. На подоконнике ближнего окна сидел очень красивый молодой человек, который выглядел как мальчик из МГИМО, но оказался физиком Мишей Поливановым, рядом с ним или на втором подоконнике сидела Никита Введенская (она жила, оказывается, в одном доме со мной, но это не привело к более близкому знакомству, с ней мы только раскланивались). Слева сзади, ближе к двери, серьезно молчала Наташа Трауберг<sup>84</sup>, тогда еще очень тонкая и собранная, но столь же энергичная. Она всегда была одета в серо-черных тонах. (Совсем недавно она рассказала кому-то, что В.А. Успенский специально от нее требовал выхода в том же самом платье – однако эти сведения у меня из

вторых рук.) Совсем сзади стоял В.Н. Топоров, не проронивший за все время семинаров ни одного слова, но, кажется, не пропустивший ни одного заседания, и, по-видимому, рядом с ним Никита Толстой<sup>85</sup> (но я его до 1958 года не знал и поэтому, может быть, сейчас подставляю рядом с Владимиром Николаевичем просто другого человека с бородой). Сзади же сидел или стоял Шаумян, который, наоборот, в семинаре участвовал активно, особенно в дискуссии о фонеме, где Себастьян Константинович смело вступал в бой с В.А. Успенским по поводу правил применения математической логики (ретроспективно можно восстановить, что он объяснял Владимиру Андреевичу сущность операционных определений, что было особенно пикантно, если учесть, что В.А. Успенский в то время занимался рекурсивными функциями)»<sup>86</sup>.

– Я помню, – рассказывает Борис Андреевич Успенский об участниках семинара, – Мельчука, Иорданскую, Андрея Зализняка, Елену Викторовну [Падучеву], Татьяну Михайловну Николаеву<sup>87</sup> – из университетских. Я думаю, что я был самый младший. Студентов я не помню других.

Я не назвал, может быть, самые главные фигуры, – одни из самых главных, потому что был и Владимир Николаевич [Топоров], – это Маргарита Ивановна Бурлакова<sup>88</sup>, которая потом стала Лекомцевой, и муж ее будущий – Юрий Константинович Лекомцев<sup>89</sup>. Она была очень активной и очень хорошо работала. И муж ее был замечательный. Он был в ас-



пирантуре по вьетнамскому языку, но вообще его интересовала общая лингвистика. Он перевел Ельмслева<sup>90</sup>, «Прологомены к теории языка»<sup>91</sup>. Они оба были мои большие друзья, из самых близких, может быть.

«Педантизм и формализм, сопровождавший любое высказывание и любой поступок В.А. Успенского, – продолжает Ревзин, – вовсе не был скучным формализмом; это был веселый, озорной педантизм, сопровождавшийся совершенно небывалыми разрешениями: на семинаре было устами самого В.А. разрешено перебивать докладчика, задавать ему вопросы, выходить во время его доклада к доске и затевать с ним спор, разрешено было не понимать докладчика и гордиться этим. Все это было неслыханно среди лингвистов, особенно поразительно на филфаке (и уже совсем немыслимо в нашем Инязе), и этим правом действительно пользовались: чаще и громче всех, конечно, И.А. Мельчук, сопровождавший победным смехом свои замечания, но и другие, но и я сам, чувствовавший себя в этой аудитории гораздо больше студентом, чем в свое время в Инязе.

Я очень любил эти собрания и, кажется, не пропустил ни одного. Даже больной, с бюллетенем, я приходил на семинар, и не было такого дела, которое я бы не бросил, если оно приходилось на понедельник вечером, когда заседал семинар. Семинар начался с того, что участникам было предложено дать точные определения понятия падежа («сколько падежей в русском языке?», «что значит, что два слова стоят

в одном падеже?») и ямба («что значит, что «Евгений Онегин» написан ямбом?»). Само сопоставление этих двух столь разных проблем действовало на воображение. Оно, с другой стороны, с самого начала определило широту интересов нашего семинара».

– Я очень хорошо помню, – вспоминает В.А. Успенский, – когда семинар начинался, я пошел к Колмогорову. Как-то я знал, что он интересуется лингвистикой, – ну, он всем вообще интересуется, и я его спросил, чего там делать-то, на этом семинаре? Вот мы его открываем, а делать-то там чего? Он говорит: «Ну, дайте задачи». Я говорю: «Какие задачи?» И вот он дал две задачи. Одна задача – пусть они определяют, что такое ямб. А вторая задача: вот все говорят «падеж», «падеж». В школе учат: шесть падежей. Потом ближайшее рассмотрение показывает восемь, а на самом деле там еще более тонкие обстоятельства возникают. Вот у Зализняка потрясающие наблюдения: что такое «пойти в солдаты», например? Что это за падеж такой? Если это именительный падеж, то что же – именительный падеж с предложением?

Этот все обсуждалось на нашем семинаре с Ивановым, и я помню, тогда возник вопрос, а бывает ли партитив от имен собственных. И Петр Саввич Кузнецов – это очень характерно для него – говорит: «Конечно, бывает! Вот помню, я видел сон в молодости. Там мой приятель Сережа лежит на столе, на блюде поданный, держа в зубах петрушку или укроп,

как такой заливной поросенок. И кто-то кого-то спрашивает: “Хочешь Сережи?” Вот “Сережи” здесь явно партитив!» Вот так все это происходило тогда.

Да, так вот, Колмогоров говорит: «Падежей в русском языке шесть. А чего шесть? Чего? Непонятно чего. А в немецком четыре. Чего четыре? Вот пусть они...» – и он тут же мне объяснил, что такое падеж. Определение падежа по Колмогорову. Я, по счастью своему, это тут же записал. И опубликовал<sup>92</sup>.

Вообще Колмогоров характерен тем, что он очень много своих идей, наблюдений, открытий, я бы даже сказал – он так вскользь упоминает при обсуждении какого-нибудь доклада на семинаре. Вот если удалось кому-то это услышать, а услышав, понять, а поняв, запомнить, а запомнив, записать, а записав, опубликовать, – тогда это остается. А бóльшая часть, конечно, ни то, ни другое, ни третье – и ушла куда-то вообще и неизвестно где находится.

«Первое занятие семинара состоялось 24 сентября 1956 года, – пишет В.А. Успенский. – Оно было целиком посвящено выступлениям руководителей семинара. Не помню, о чем говорили П.С. Кузнецов и В.В. Иванов, я делал обзор *Papers* по математической лингвистике Гарвардского университета (точного библиографического описания у меня не сохранилось; помнится, это был довольно увесистый том, но изданный каким-то “домашним” способом вроде ксерокопий с машинописи). Кроме того, участникам были предложены

домашние задания на сюжеты, восходящие к А.Н. Колмогорову: найти строгие определения понятиям “ямб” и “падеж”»<sup>93</sup>.

«Я не знал тогда, – рассказывает И.И. Ревзин, – что обе проблемы связаны с именем А.Н. Колмогорова. Это имя было наиболее часто и уважительно произносимым на семинаре. Оно и понятно. В.А. Успенский (так же, как и Р.Л. Добрушин) был непосредственным учеником Колмогорова. Вяч. Вс. Иванов лично общался с А.Н. Колмогоровым и часто передавал содержание своих разговоров с ним. Однажды он даже делал доклад о понятии информации по Колмогорову и о его лингвистических последствиях. Колмогоров, лично появившийся гораздо позже, незримо присутствовал на всех наших занятиях и благословлял нас вместе с Нильсом Бором и Романом Якобсоном, о которых мы тоже часто говорили (Вячеслав Всеволодович рассказывал тогда же о его шифтерах<sup>15</sup>). Я запомнил лишь немногие выступления. Но я ясно помню, как Игорь Мельчук делал доклад о дифференциальных акустических признаках по Якобсону. По-видимому, в важности темы и в возможности ее изложить его убедил Вяч. Вс., ибо Мельчук был (впервые в жизни на моих глазах) явно не в своей тарелке, сбивался под градом вопросов аудитории, уже привыкшей ставить последние точки над “i”, и кое-

---

<sup>15</sup> Лингвистический термин, введенный Отто Есперсеном и используемый Р.О. Якобсоном в его работе «Шифтеры, глагольные категории и русский глагол. Принципы типологического анализа языков различного строя».

как закончил доклад. Замечу, что с тех пор Игорь ни разу не брался за фонетические проблемы (за исключением подсобных для него вопросов типа статуса полугласных в испанском языке) и всегда третировал фонетические штудии с пренебрежением. Тем не менее здесь семинар помог и ему: ясно выбрать линию для дальнейшего.

Помню, как Боря Успенский, тогда (второ- или) третьекурсник, длинный, неуклюжий, красный от волнения, делал вторую часть доклада Владимира Андреевича о теоретико-множественной концепции языка. В этом также сказалась пунктуальность Владимира Андреевича, не хотевшего, чтобы его болезнь изменила запланированный ход семинара».

– Доклад был не вполне самостоятельный, – рассказывает об этом Борис Андреевич Успенский. – Как я сейчас помню, Володя – Владимир Андреевич – представил какой-то доклад по математической сущности языка. Доклад должен был занять два заседания. На первом заседании он был, а закончить он предложил мне. Он сам не смог. Я сейчас точно не помню; думаю, что у него оказались какие-то срочные университетские дела. И я сделал доклад за него. То, что я излагал, – теория моего брата. Это была математическая лингвистика, но конкретнее, теория множеств.

«В другой раз, – продолжает Ревзин, – к доске вышел толстый румяный мальчик очень филологического вида и стал что-то предлагать в дополнение к теоретико-множественной концепции. Говорил он не очень ясно, и я очень удивился,

когда Владимир Андреевич сказал: “Ладно, объясни сначала мне. Математик математика всегда поймет скорее”. И после наступившего перерыва и их обоюдного обсуждения у доски Владимир Андреевич объяснил нам всем основы концепции, которая потом получила название “элементарной грамматической категории”. А мальчиком оказался Роланд Львович Добрушин, который и впоследствии в семинаре участвовал очень активно».

«Роланда Львовича Добрушина, – пишет Елена Викторовна Падучева, – мне показали в 1957 году на знаменитом семинаре по математической лингвистике под руководством Вяч. Вс. Иванова и В.А. Успенского. Это была счастливая пора великих ожиданий. В том числе и для лингвистов. Математика почиталась как царица наук. Казалось, что стоит только овладеть теорией вероятностей или математической логикой, и от обветшалой, неформальной традиционной лингвистики не останется и следа, а все будет точно, однозначно и научно. Добрушина привлекли к участию в семинаре как специалиста по теории информации, но он приходил, по-моему, всего один-два раза – думаю, это была не его стихия».

«Помню, наконец, – рассказывает Ревзин, – как я два семинара подряд делал свой первый доклад по математической лингвистике, как меня донимал своими дотошными вопросами маленький лысый человек, стоявший у стенки, как я даже, полностью смутившись, обратился за помощью к Вла-

димиру Андреевичу. Тот объяснил, обратившись к спрашивающему, кажется, на “ты” (во всяком случае, как к старому знакомому). В тот же вечер я узнал, что это был А.С. Есенин-Вольпин.

И были, разумеется, лекции Владимира Андреевича, закрывающие в памяти все остальное. В этих лекциях проявилось нечто, полностью искупавшее педантизм Владимира Андреевича, – это его искренняя заинтересованность в происходящем, умение самому увлечься и увлечь других.

Владимир Андреевич излагал в своих лекциях основы арифметики, стараясь очень педантично передать все детали, опущенные в школьном курсе, чтобы дать нам почувствовать прочность всего здания. Но когда он при этом рассказывал об увлеченности пифагорейцев, о том, как они пытались скрыть факт несоизмеримости диагонали и стороны квадрата, как они убили того, кто выдал эту тайну, чувствовалась его собственная пифагорейская захваченность. Не помню, на семинаре ли, или в какой-то из личных бесед он рассказывал о потрясении, испытанном им, когда он узнал о наличии парадоксов в теории множеств, или в другой раз говорил о теореме Гёделя с тем же восхищением. <...> Если к этому прибавить и несомненные ораторские достоинства Владимира Андреевича, и его адвокатские замашки – то ясно, что его тогдашние лекции воспринимались как цельные произведения искусства. И была у Владимира Андреевича в то время еще одна особенность, резко выделяв-

шая его из большинства математиков (за исключением, может быть, Колмогорова), сталкивавшихся с математической лингвистикой, но не занимавшихся ею, а именно отсутствие той благожелательной пренебрежительности, с которой, как правило, математик заговаривал с лингвистом».

«Время семинара в МГУ, – продолжает Ревзин, – окрашено личностью Вяч. Вс. Иванова не в меньшей мере, чем личностью Владимира Андреевича. Просто влияние Вяч. Вс. было тогда меньше на поверхности. Наиболее явно оно сказывалось в широте наших тогдашних интересов. В частности, благодаря Вяч. Вс. я познакомился с двумя такими выдающимися психологами, как А.Р. Лурия и И.А. Соколянский, с такими молодыми логиками, как В.К. Финн и Д.Г. Лахути».



# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.